

Литературная Грузия

10335/2
2002

7-12



2002

Литературная Грузия

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Грузии
Институт грузинской литературы им. Ш. Руставели
Издательство "Литературная Грузия"

7-12

2002

ДРАМАТУРГИЯ

РЕЗО КЛДИАШВИЛИ. Одинокая дуна.

Перевод Лианы Татишвили. 141

ПОЛЕМИКА

МАРИАМ ЛОРДКИПАНИДЗЕ,

ЭДИШЕР ХОШТАРИ-БРОССЕ.

Абхазия вчера, сегодня, завтра... 154

ЛЕЙЛА ХУСКИВАДЗЕ.

По поводу “дела” о подделках грузинских эмалей. 173

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

РОСТОМ ЧХЕИДЗЕ. Истоки искренности. 183

ГУРАМ ГАВАШЕЛИ.

Азербайджанская тема в творчестве Михаила

Джавахишвили. 194

ТЕАТР

НАТЕЛА УРУШАДЗЕ. Нато Габуния. 202

НАДЕЖДА ШАЛУТАШВИЛИ.

Лесь Курбас и деятели грузинской сцены. 211

ПАМЯТЬ

АНАИДА БЕСТАВАШВИЛИ.

“Не уезжай, голубчик мой...” 224

ПОЭТ МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ

Ушел из земной жизни Мурман Лебанидзе. Осталась его поэзия. Мир создан так, что объективно, без пристрастия оценить творчество того или иного художника возможно, к сожалению, лишь спустя несколько десятилетий, а иной раз столетий после того, как он перестал физически существовать. Примеров неправильной оценки достаточно много. В 1835 году, когда вышла в свет небольшая книга стихотворений В.Бенедиктова, она имела шумный успех, особенно среди студенческой молодежи. Многие читатели ставили молодого автора выше живого тогда Пушкина, зрелые, поистине гениальные произведения которого весьма холодно принимались публикой.

Современники называли чародеем и сравнивали чуть ли не с солнцем К.Бальмонта, который, кстати, довольно-таки жеманно перевел, прибегнув к внутренним рифмам, “Витязя в тигровой шкуре”. Сегодня его стихами интересуются больше литературоведы, чем читатели. Одно время восторги вызывали и так называемые поэты Игоря Северянина... Конечно, это так, но когда все до единого читателя, вся читающая страна признает определенного поэта талантливым и народным писателем, это стоит очень многого.

Мурман Лебанидзе – поэт милостью Божьей. Он всегда был гражданином с большой буквы, очень далеким от тех приспособленцев и конъюнктурщиков, кто, забывая об искусстве, выдвигал на первый план удобные временщикам ложноактуальные темы и кажущиеся важными проблемы.

Мурман Лебанидзе предельно прямо, искренне и эмоционально заявил – “никакой другой Родины, кроме этой, у меня нет”. Он как бы перекликался с Рафаэлом Эристави, сказавшим: “Как Бог, так и Родина одна в мире” и с Сергеем Есениным, автором проникновенных строк – “Никакая Родина другая не волеет мне в грудь мою теплынь”.

Поэзия Мурмана Лебанидзе начала сегодня неизбежное столкновение с жестким и неумолимым временем. Думается, творчество поэта выдержит эту бескомпромиссную борьбу и выйдет из нее, обретя свежие цвета и новые силы.

Георгий ЧАРКВИАНИ

მურმან ლებანიძე

ოთეც

I

Уже стихами о войне не грохочу,
как юноши

грохочут сапогами,

нет —

умными неслышными шагами

иду...

Я незаметным быть хочу.

Походкою раздумчивой,

усталою,

сквозь переулки темные,

кривые

я тихо возвращаюсь

в гавань старую,

где на корабль поднялся я впервые.

Стоят осенние чинары голые.

Я листья поднимаю с мостовой.

Ты помнишь ли меня,

улица Гоголя?

Что смотришь —

изменились мы с тобой?!

Глядишь ты и печально и туманно,

не узнаешь

походки

и лица.

Я не похож

на мальчика Мурмана?

Скорей похож я на его отца?

საქართველოს
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

Нет,

это я,

размахивая веткой,

бежал навстречу своему отцу,

когда я слышал скрип калитки ветхой

и стук спокойной палки по крыльцу.

И вот,

слезу невидимую вытерши,

тревогою и памятью смятен,

вхожу сюда,

в пилотке старой, выцветшей

и со следами темными погон.

Белье трепещет на сырых веревках.

Заплакал вдруг ребенок и замолк.

Я закрываю за собой ворота

и открываю,

словно вор,

замок.

Вхожу я в комнатку.

Мне боязно и шатко.

Отец,

я над собой теряю власть...

Здесь, на гвозде,

твои пальто и шапка —

вот все, что можно у тебя украсть.

Какие-то слова

я повторяю,

тебя, отец, как раньше,

в детстве,

жду.

Твоей могилы я не потеряю,

пока своей могилы не найду.

Благодаренье всем,

кто шел за гробом,
кто провожал твою большую тень,
кто шапку снял в молчании суровом
на кладбище Кукийском в хмурый день,
кто вспомнит доброй чашей круговую
и честь твою

и дом непышный твой,
кто над твоею бедной головою
посадит стройный тополь молодой.

II

Любил я слушать в детстве раннем-раннем,
как в горы он мальчишкой убегал,
как на австрийском фронте был он ранен
и был судьбой заброшен за Байкал.
Он весел был с деньгами и без денег,
с усмешкой говорил он о врагах,
и брюки не лоснились от сиденья, —
ведь сорок лет провел он на ногах.
Неся арбуз,

литой и полосатый,
походкою спокойной и прямой,
как из далеких стран усталый Саба,
он возвращался вечером домой.
На кухне

сам
он весело орудовал
и ставил в воду теплое вино,
а я смотрел,
как выреза арбузного
алело треугольное окно.

Потом

тетрадки школьные

разглядывал,

потом

большой чурек

в руках разламывал,

вином его привычно поливал

и тихо

“За Байкалом...”

напевал.

А я “Байкалс икит”

переводил...

Когда он пел,

то он застенчив был.

Он тихо пел,

а громче петь не мог.

Он пел,

как будто голос он берег

для песни ненаписанной,

другой,

но я и сам не знаю —

для какой...

III

Я помню город,

в дождь осенний канувший.

Мы ожидали с матерью отца.

Как мелкие настойчивые камушки,

дождь падал в таз у нашего крыльца.

Мне зонт вручен,

и я к отцу бегу,

бегу и надышаться не могу

всем запахом

блестящих мокрых крыш,

сырых заборов,
лавочек,
афиш.

И вот с отцом по улицам идем,
идем,
обнявшись,
под одним дождем.

Сгущается
ночная темнота,
лишь светят капли по краям зонтика...
Уж двадцать лет,
наверное, —
прошло,
а дождь —
а дождь опять стучит в стекло.

Газетою накрывшись,
не пройти,
но зонтик —
зонтик некому нести.

Да,
нет, отец, тебя среди живых.
Ты растворился
в струях дождевых.
Ты превратился
в листья
и траву,
во все, чем я дышу
и чем живу.

IV

Вы скажете —
ну, что он все о детстве?!
Простите мне

за ход сравнений дерзкий.

Я —

о медведе...

Он работал в цирке, то с тою Н
ходил он колесом

и к нужной цифре, ибо
когда ему велели, миного доп

подходил,
смешной футбольный матч собак судил,

крутил велосипедные педали,
но столько было горестной печали

в его больших коричневых глазах —
печали о полянах и лесах,

где никаких педалей не крутил,
а просто —

просто медвежонком был...

V

Вот мимо зданий,

мимо палисадов

отцовскою походкою прямой,
немолодой,

с арбузом полосатым,

я возвращаюсь вечером домой.

Чтоб стало больше светлого,
чем грустного,

я поднимаю темное вино,
и смотрит сын,

как выреза арбузного
алеет треугольное окно.

Но все-таки бывает — душной полночью
остановлю

потящее такси,

я еду к дому старому,
 за помощью,
за помощью от бед и от тоски.
Я выйду,
 я сяду на старенькой лавочке,
где светятся в листьях
 неяркие лампочки,
и мир —
 он обступит
 зеленым дыханием,
шепотом чьим-то,
 теньей колыханием...
Он вдаль простирается
 без конца.
В нем все повторяется —
 кроме отца.

Перевод Евгения ЕВТУШЕНКО

ВЕСНА

Ползет, ползет ущельями весна,
летит пыльца цветочная, о горе!
Весна, мой враг, меня лишила сна
весна, мой кровник, время роковое.

В Абастумани поздняя зима,
но почки набухают постепенно.
Апрель, манера твоего письма,
прости меня, еще несовершенна.

Но все же от прохлады трепеща,
зеленый цвет ползет – все шире, шире.
Вся в белом полыхает алыча,
преображенье наступает в мире.

А по ночам какие-то шаги,
несвязный шепот, стоны, междометья...

Бессонница – и не видать ни зги.
Наутро понял – шевелились ветви.

Наутро солнце в комнатную тишь
вошло и принесло свое сиянье.

Весна, весна, – ты любишь, говоришь?
Как страшно, боже мой, твое признание.

Ползет, ползет ущельями весна.

Летит пыльца цветочная, о горе.

Мой друг, мой враг, ты рядом у окна...

О время роковое, дорогое...

Перевод Станислава КУНЯЕВА

Узнала ты
Войну, беду,
Вращенье
Планеты против стрелки часовой,
На плаху шла.
Потери и лишения
Одoleвала в смуте мировой.
Печаль свою и боль несла с собою
В сплошной неразберихе
Скорбных дат:
Ты павших выносила с поля боя.
Тебя средь павших находил солдат...
Порой твое божественное тело
Окутывало жалкое тряпье.
Труднее нет,
Прекрасней нет удела,
Чем твой удел,
Чем бытие твое!
Все вынести! —
Великая способность, —
Как красота, не каждому дана.
Серебряная прядь!..
Поверь, условность
И молодость порой,
И седина...

... Она идет, несет мне снега шорох

Та женщина высокая, вдали...

О, это ты,

Твои глаза, в которых

Отражена краса родной земли:

В них трепет тополей,

И свет, и тени,

Берез узоры на голубизне...

Ты радуешься моему волнению,

И счастлив я

В ответ тебе —

Вдвойне...

Земля мне и такая —

Всех родней!..

Пью мед и яд,

Дарованные ею.

Но вижу в настоящем

Все острее

Сырье, основу

Для грядущих дней.

Люблю я эту землю —

Видит бог!

Но я смотрю
На горы, на долины,
На все вокруг –
Как бог смотрел
На глину
Пред тем, как свой шедевр
Создать он смог.

Перевод Елены НИКОЛАЕВСКОЙ

Рауль ЧИЛАЧАВА

ЯЗЫК

Солнце Покровы – бальзам для души и тела.
Льется тепло из небес переполненной шири.
Словно запел соловей в инозвучном эфире.
Это грузинская речь до меня долетела.
Пусть окружившие слышат ее неумело,
Мне это – радость, единственно данная в мире:
Сбросив окольных словес тяжеленные гири,
Всплывшее детство на солнце осеннем запело.
Слух мой чужие слова приручить не сумеют,
Не очаруют грузина поющую душу
Грохотом тяжких ударов о грудь кулаками.

Братья мои, переводчики, будем умнее,
Сделаем так, что язык языка не задушит,
Слово от Бога в чужом не утратится гаме.

ИСТОРИЯ

Слово “жестоко” в истории не существует.
Нет и добра в ней – синоним она безразличья.
К нам господа, наделенные в книгах величием,
Сквозь ордена и заслуги глядят, торжествуя.

Это они породили фантастику злую,
Черную магию слов, колдовства и двуличья.
Жертвы напрасны, и кровь, – ни баранья, ни бычья
Нас не спасет – разве время проклятие сдует.
Кто совместил нам слова “государство” и “право”?
Лед и огонь кто напрочил в соседи друг другу?
Кто поместил под Фемиды незрячую руку
Лживость и подлость – охраною слева и справа?
Знаю, история, зла ты, коварна... И все же
Время придет – и спадешь, как змеиная кожа.

БЛАГОДАРИЮ!

(Перевернутый сонет)

Отче небесный, спасибо, что вывел на свет,
Сделал меж всех человеком на множество лет,
Дал мне сочувствия дар и любви, и прощенья

В годы несчастий и бед, и морозов притом,
И не оставил пустого на месте пустом,
И подарил мне возможность к Тебе обращенья!

Отче, спасибо за то, что не дал мне упасть
Там, где так много валилось людей на колени,
Там, где, седея не сами, а всем поколеньем,
Телом несатытым теряли надежду и страсть.

Отче, спасибо, что сердцу не нравилась власть,
Что не пришлось мне заняться ее утоленьем.
И за трубу, что, не ведая в том утомленья,
Смерть заглушит и еще наиграется всласть.

Перевод Василия ДРОБОТА

საქართველოს
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

МАРАНИ*

Погреб дубовый, кувшины и квеври** открытый,
Мясо, копчености, хлеб под закуской другою.
Нитка терпения лопнула: щедрой рукою
Чаши наполнил хозяин, и беды забыты.

Пусть наши головы вечной заботой забыты,
Сыплет в нас небо несчастьем, как жернов – мукою.
Мы на родимой земле не пребудем в покое,
Хоть и немного нас, все же с врагами мы квиты.

Прелесть вино добавляет грузинское слово
(Я коньяка и ликера не трогаю, Боже!).
Друг мне Платон, только истина в споре – дороже,
Вот и отыщем на дне ее снова и снова.
Храм наш Марани – начало всем светлым дорогам:
С другом сидишь, пьешь вино и беседуешь с Богом.

ЕСТЬ ВСЕ-ТАКИ ВРЕМЯ

Покуда трепещут – не смежились в смертной истоме –
ресниц опахала,
Есть время дымком затянуться,
на мир поглазеть, не печалясь нимало.

* Марани – специальное помещение для хранения вина, а также продуктов.

** Квеври – закопанный в землю конусообразный большой глиняный кувшин, в котором вино долго сохраняет свои вкусовые качества.

Покуда не снял с тебя мерку всех страждущих
горестный плотник,
Есть время еще посвистеть, покурить, подурить
с неразумною плотью.

Кончается все в этом мире, богатым и бедном,
И час Суламифи прошел, и пора пирамид
миновала бесследно.

Меняет эпохи Господь, словно крутит и крутит
отчаянный видеоролик,
Где жаждет и малый актер получить не последние роли.
Чтоб был и дворец, и жена, и саксонский сервиз,
и живая монета.

Кончается все в этом мире. Но так ли уж тягостно это?
Покуда бессмертных зевак Арлекино доводит до колик,
Покуда дрожит на экране печальный заезженный ролик,
Есть все-таки время, чтоб выйти из кадра и во поле чистом
Заполнить короткую паузу дымом иль свистом.

Перевод Клавдии БИЛЫЧ

Заза АБЗИАНИДЗЕ

ИСТОРИЯ де ЛИСА

Это было давным-давно. И далеко-далеко отсюда. В самом сердце дремучего леса стояла на лужайке маленькая крепость, обнесенная зубчатой стеной, и если бы вы могли летать над лесом так же вольно, как известная своим любопытством ворона Зита, то непременно заметили бы и эту крепость, и ров, заполненный водой, вдоль крепостной стены.

Удивительной была эта, похожая на игрушечную, крепость, и еще более удивительной – история, приключившаяся здесь. Дело в том, что и эта крепость, и эта стена в свое время были построены невидимыми лесными жителями – маленькими гномами-волшебниками – в подражание тогдашним рыцарям. Какое-то время они даже жили в ней, но потом, соскучившись по прежней вольной жизни, вернулись в чащу леса. А крепость передали родителям де Лиса, правителя тамошнего лисьего царства. По условиям сделки новые владельцы крепости должны были ежедневно поставлять гномам четвертую часть своей ночной добычи.

Уж на что лисы были хитрыми bestиями, но они никогда не нарушали условий соглашения – не обижали ни гномов-волшебников, ни своего предводителя, который вместе с крепостью унаследовал титул графа де Лиса и теперь носился с этим рыцарским отличием, как со своим роскошным, пушистым шелковистым хвостом.

Раньше, когда длиннохвостые жили еще в своих, разбросанных по лесу норах, большую часть добычи у

них отбирал волк Севастий. При невиданном аппетите он безумно боялся деревенских псов и отыгрывался на лисах – вырывал добычу прямо из пасти. А если кому и удавалось ускользнуть – мстительный Севастий разорял их норы. Бывало, он похищал и лисят...

Так или иначе, лисье племя предпочло всему этому соглашение с гномами. Теперь после ночной охоты длиннохвостые собирались на рассвете в условленном месте и предводительствуемые храбрым де Лисом строем вступали в пределы своей крепости.

Изнуренный голодом Севастий скрипя зубами бродил вокруг да около, проклиная на чем свет стоит тот день и час, когда лисье племя обосновалось в своей цитадели.

А в стенах лисьего царства происходили удивительные дела. Истории о рыцарях, услышанные от гномов, настолько увлекли де Лиса, что он, не щадя себя, делал все, дабы привить своим плутоватым подданным нравы, обычаи и манеры, принятые в истинных графствах.

Иные из этих обычаев были очень красивы, иные нудны, но не лишены смысла, иные же – просто бессмысленны. За спиной де Лиса посмеивались над этой его причудой, но была в ней и своя прелесть, и длиннохвостые постепенно стали привыкать к новой жизни: ночью они по-прежнему шныряли по окрестностям, вынюхивая добычу, днем же так степенно прохаживались вокруг дворца де Лиса, что наблюдавшая за ними ворона Зита терзалась сомнениями – не ее ли заманивают этой своей степенностью длиннохвостые бестии?

Но одним прекрасным днем, вернее вечером (а насколько прекрасным – мы сейчас увидим) внутри крепости поднялся такой переполох, что любопытная Зита, забыв об осторожности, подлетела к крепостной стене

и уселась на зубец. Отсюда ей хорошо было видно, что никому в целом лисьем царстве до нее сейчас нет дела: случилось что-то необычайное, лисицы в тревоге метались по двору, и лишь де Лис, которого Зита безошибочно узнавала по огромному пушистому хвосту, не спеша направлялся ко дворцу. Когда последняя, самая облезлая и жалкая, лисица исчезла из виду и во дворе никого не осталось, Зита, не в силах совладать со своим любопытством, подлетела к верхнему оконцу дворца и замерла в его проеме.

Наконец шум стих и дрожащие от страха подданные по старшинству расположились вокруг де Лиса, и Зита превратилась в слух. Вскоре она поняла, что происходящее не имеет никакого отношения к воронам, зато в лисье царство действительно пришла беда — отряд, готовый к предстоящей ночной охоте, не смог опустить навесной мост через ров. Какой-то злодей заклинил снаружи и мост, и крепостные ворота, так что ни одна лисица не могла высунуть нос со двора. Разумеется, если бы она не пожелала спрыгнуть со стены и бесславно утонуть во рве с водой.

Зита знала, что, согласно обычаю, де Лис в первую очередь предложит высказаться самым длиннохвостым из своих придворных — баронам де Хитрулио и де Пронырио. Но откуда же ей было знать, что за все время визирства последних не было случая, чтобы их мнения совпали.

Так случилось и на этот раз. Де Хитрулио упрямо повторял: — Это Севастий! Севастий! Севастий! — А де Пронырио с таким же упорством стоял на своем: — Это Бомбоко! Бомбоко! Бомбоко!

Де Лис переводил взгляд с одного на другого, а про себя думал, что хотя Севастий и был способен на любую



подлость, но обессиленный от голода старый волк вряд ли смог бы вырвать с корнем дерево и заклинить крепостные ворота, а медведь Бомбоко, хоть и обладал недюжинной силой, к лисьему царству никаких претензий не имел, да и вообще подобные пакости были не в его духе...

Предводитель лис еще раз оглядел своих придворных и произнес как бы про себя:

– Если кто бы нам смог помочь сейчас, так это мудрая сова Софи, но летать мы, увы, не умеем, а как иначе сообщить ей о нашей беде?!

– Я приведу Софи! – каркнула вдруг сверху Зита, так, что даже сама удивилась, и в смущении спрятала голову под крыло.

Внезапная тишина объяла зал. Де Лис какое-то время сидел, замерев, будто не расслышал слов Зиты и только потом бросил недоверчивый взгляд на окно, где, как он предполагал, находилась выскочка-спасительница. Но вороны там уже не было.

Незадолго до рассвета, когда дуэт Хитрулио-Пронырио собирался затеять новый спор, в зал влетела сова Софи и степенно опустилась на пол прямо перед тронном де Лиса.

Дружба Софи и де Лиса имела свою историю: еще до основания лисьего царства отец Софи сжалился над маленькими братом и сестрой де Лиса и отпустил их подобру-поздорову. После этого, разумеется, Софи и ее потомство стали зубонеприкасаемыми для всего лисьего племени. Мирное соседство со временем переросло в настоящую дружбу, Софи иногда залетала к де Лису – то сообщала ему точное местопребывание Севастия, то презентовала только что пойманную мышь, то просто коротала время, сплетничая о дворцовой жизни...

Умная Софи быстро разобралась в создавшейся ситуации. Она внимательно выслушала лисьего проводника, смиренно выждала, пока де Хитрулио и де Пронырио закончат свое очередное препирательство, потом тяжело взмахнула крыльями и улетела в сторону леса.

В течение всего этого времени Зита по-прежнему сидела притаившись у оконца, и длиннохвостые вспомнили о ней только тогда, когда, проводив глазами Софи, увидели летящую за совой ворону.

Софи явно устраивала эта компания. По мере приближения зари она видела все хуже и хуже, и если в лисьем царстве ей пришлось бы возвращаться на рассвете, то лучшего проводника, чем Зита, нельзя было и пожелать.

Сова полетела прямо к берлоге Бомбоко. После разговора с де Лисом ее грызли сомнения — а вдруг медведя что-то взбесило или его покусали пчелы, и в помутнении рассудка он сорвал злобу на лисицах...

Они увидели Бомбоко перед берлогой, так беспечно и миролюбиво возлежащим на боку, что Софи, не издав ни звука, перелетела через него и повернула к лисьему царству, спеша сообщить хорошую новость. Только Зита каркнула что-то, похожее на приветствие, и махнула хвостом медведю, несколько удивленному перелетом этой странной парочки.

Уже рассвело, и теперь впереди летела Зита. Летела медленно, не спеша, то и дело оглядываясь — не отстала ли Софи.

Они уже собирались перелететь через крепостную стену, как Зита вдруг, словно подстреленная, рухнула на зубец. Софи беззвучно опустилась рядом.

Через некоторое время, переведя дух, Зита спросила у Софи дрожащим голосом, не заметила ли она на

лужайке нечто странное?

Софи в знак отрицания повела огромными глазами. Зита в растерянности посмотрела по сторонам, зажмурила глаза, потом снова широко раскрыла их и уставилась на раскинувшуюся перед ними лужайку. Нет, ей не казалось – посреди лужайки лежал огромный дракон. Тут и Софи как будто различила что-то похожее на серый неподвижный холм.

Зита от страха не могла шевельнуться, и что-то подсказало Софи, что судьба лисьего царства сейчас зависит только от ее сообразительности. Она обреченно сорвалась со стены.

Затаив дыхание, Зита смотрела, как, тяжело взмахивая крыльями, сова осторожно кружила над серым холмом. Затем, приземлившись невдалеке и собравшись с силами, она энергично заковыляла к дракону и уселась прямо у него перед носом.

Дракон, щурясь, уставился на сову: – А это еще кто?

Софи старалась говорить солидным басом и предельно вежливо – как-никак ей приходилось выступать в роли посла.

– Глубокоуважаемый дракон, – произнесла она важно, – простите, не знаю вашего имени.

– Меня зовут Клара, – неожиданно тонким и звонким голосом ответила дракониха.

– Мадам Клара, – снова начала Софи, несколько смешавшись, но уже своим обычным голосом.

– Я не замужем, – прервала ее Клара.

– О-о, прошу прощения, мадемуазель, это же так очевидно, такое нежное и прелестное создание... – не растерялась Софи.

– Вы так считаете? – спросила Клара, явно польщенная.

– Безусловно, это и слепцу видно, – сказала Софи и тут же запнулась, пожалев об этом – а вдруг Кларе известно, что совы почти не видят при дневном свете.

– Что ему видно, если он слепец? – Клара подошла к вопросу с иной стороны.

– Это же выражение такое. Вот, например, когда мы говорим, – “сердце разорвалось от страха”, – оно же не разрывается на самом деле, – без труда нашла Софи подходящий пример.

– Да-а? – удивилась Клара. – Впрочем, мне всегда трудно было разбираться в таких выражениях... Потому я и убежала из дому...

– Почему вы это сделали? – искренне огорчилась Софи, которой кларина проблема напомнила о своих проголодавшихся птенцах.

– Я случайно наступила на яйцо в нашей пещере, и родители завопили: “Чтоб ты сдохла, чтоб ты пропала!” Я испугалась и убежала... Сколько времени, как я... Значит они не хотели, чтобы я умерла или исчезла? Это просто выражение такое? А почему они кричали, если они не собирались меня убивать: “Убить ее мало, она разбила нашу последнюю надежду!” А я ведь разбила всего лишь яйцо, – упрячилась Клара.

Тяжело вздохнув, Софи безнадежно взглянула на дракона.

– О чем вы говорите, как могли ваши родители, такие уважаемые драконы, убить свою дочь... Они, как видно, ждали, когда из того яйца вылупится ваш брат или сестра, и потому распалились гневом.

– Нет, огня как такового не было, – уточнила Клара, – пламя обычно изрыгают наши дальние родственники.

Софи не стала уточнять родственных связей Клары, она вдруг вспомнила, почему, собственно, здесь на-

ходится. Помолчала какое-то время, и, наконец, решилась:

– Совсем одна-одинешенька, да еще такая красивая, такая юная... какая несправедливость, – заговорила она медленно, причитая. И вдруг умолкла и закончила решительно: – Вы должны вернуться! Да, вы непременно должны вернуться к родному очагу!

– Куда я должна вернуться? – снова не поняла Клара.

– В родную пещеру, – вымолвила Софи, уставшая от непонятливости драконихи.

– Никогда! У меня нет ничего общего с моими родителями, и вообще я ни от кого не хочу зависеть. Я уже большая!

Софи открыла было клюв, чтобы возразить: “Нет, маленькая”, но, окинув взглядом эту серую гору, смолчала и в отчаянии понурила голову.

Клара, напротив, развеселилась, почувствовала вкус к беседе и мечтательным голосом продолжала: – Да, я уже вполне взрослая девушка и хочу жить отдельно. Между прочим, пора подумать и о замужестве. Поэтому, в первую очередь, мне необходимы тридцать лисиц.

Софи насторожилась. “Все кончено”, – мелькнула мысль, но, справившись с волнением, она прошептала:

– Неужто вы так проголодались?

– Вовсе нет... Впрочем, да, я проголодалась и пока они не пришлют мне тридцать лисиц, никто из них не выйдет из крепости.

Софи задрожала от страха, но не подала виду, лихорадочно перебирая варианты спасения своих друзей.

– Уважаемая Клара, а если вместо тридцати лисиц мы преподнесем вам, скажем, триста мышей или кур... Поверьте, они гораздо вкуснее...

Но Клара стояла на своем:

– Никаких мышей и кур! Тридцать лисиц и точка! Я никуда не спешу, это их заботы, – и, взглянув на отчаявшуюся Софи, добавила:

– Тридцать лисиц, причем самых красивых, самые красивые – они же и самые вкусные! Не правда ли?!

Последние слова прозвучали так категорично, что Софи не посмела возразить. Предельно вежливо попрощавшись с драконом, она в страхе стала пятиться назад и взлетела в воздух, прощально кивнув головой.

Ворона, наблюдавшая за неудавшимися переговорами, встретила возвращающуюся сову и после того, как та влетела в графский зал, заняла свое место в оконце.

Софи, как подкошенная, упала прямо к ногам де Лиса, при этом так несуразно щурила глаза, что стало ясно – ничего хорошего она не скажет.

Тишину нарушил опять-таки де Лис.

– С какими вестями прибыла ты к нам, сестра наша, потерявшая сон и покой в заботах о нас?

– О ваше хвостосиятельство, о покровитель и добрый друг совиного племени! Я принесла вам ужасную весть!

Задрожавшие хвосты стали отбивать мелкую дробь. Не дрогнули лишь де Лис и несколько старых его соратников. Последние, правда, были вообще без хвостов – в свое время Севастий и сельские псы потрудились над ними, но будь они хвостатые, хвосты бы у них не дрогнули.

– Скажи же, наконец, что нам грозит, уважаемая Софи, не томи ожиданием, – произнес де Лис и, прищурившись, оглядел зал.

Софи неторопливо стала описывать внешность дракона во всех подробностях, передала содержание их беседы и под конец, вспыхнув, почти продекламировала:

– Кровопийца дракон

Нам диктует свой закон:

Чтоб подали ему вниз

На съеденье тридцать лис!

– Какое время говорить стихами! – хихикнул де Хитрулио.

– К сожалению, некоторым не понять, что именно в такие минуты проявляется сила истинной поэзии, – не замедлил отозваться де Пронырио.

Звонкий смех неожиданно огласил зал. Бесхвостые старейшины бросили недовольные взгляды в дальний его угол, где устроились молодые красавицы, посверкивая своими шубками, – их, согласно воле де Лиса, звали фрейлинами. Фрейлины виновато опустили головы, но их глаза из-под ресниц так лукаво лучились, что даже де Лис усмехнулся в усы – он не сомневался, что этим пушистохвостым плутовкам известны все тайны дворца: и то, что сам он пописывает стихи, и то, кому он их посвящает...

Тем временем хвостодрожание прекратилось, и граф понял, что пришло время дать ответ Софи:

– Да, у нас есть свой закон

И, клянусь вам честью рода,

Не получит ваш дракон

Ни красавиц, ни уродок! –

последние слова были произнесены таким громовым голосом, что зал взревел.

Зита, которая от неожиданности чуть не выпала из своего оконца, слышала только отдельные возгласы: “Да здравствует граф, ура!”, “Де Лис, веди нас за собой!”, “Долой коварного дракона!” и т.д.

Когда боевые призывы смолкли, де Лис заговорил совершенно иным тоном:

– Глубокоуважаемые длиннохвостые и бесхвостые, уважаемая Софи и вы, уважаемая Зита, все мы хорошо знаем, что криком делу не поможешь. Пусть каждый из мудрейших выскажет свое мнение.

Де Хитрулио с довольным видом оглядел зал. Как видно, путь к спасению был ему известен. Он вел напрямик к Севастию: – Помиримся с ним, и он нам поможет!

Де Пронырио, естественно, в лице спасителя виделся Бомбоко:

– Если мы пообещаем медведю регулярно снабжать его медом, он спасет нас от беды!

Мнение бесхвостых старейшин выразил Лисентий: – Хотя у нас, старейших сокурников вашего хвостосиятельства, и не осталось хвостов, но в сердцах наших, в отличие от некоторых, осталась решимость отстаивать свою свободу, – тут он возвысил голос, – поэтому наше общее решение – война и только война!

Де Лис почему-то возвел глаза и вкрадчиво спросил Лисентия: – А план военных действий у вас есть?

– План военных действий, ваше хвостосиятельство, будет у вас через неделю, – вытянулся Лисентий и, преисполненный достоинства, опустил голову.

– Не спросить ли совета у гномов, – как бы между прочим заговорила Софи. Де Лис ничего не ответил, но так покачал головой, что видно было – эта мысль пришла к нему по душе.

Де Лис уже собирался выступить с заключительным словом, как перед ним вырос старый книжник и алхимик Лискибиадес. В дрожащих лапах он держал заплесневелый кожаный свиток. Было заметно, что он волнуется, хочет сказать что-то важное, но не решается без позволения графа.

Самовольное появление перед троном облезлохвостого ученого явилось, как видно, нарушением дворцового этикета, но де Лис взглядом усмирив ошестившихся старейшин – ничего, мол, страшного – и с улыбкой обратился к Лискибиадесу:

– Великий алхимик! Пришло время проявить твои глубокие познания. Возвращайся к своим пробиркам и в течение недели, пока наши отважные бесхвостые будут составлять план военных действий, выведи нам искусственных кур! Знай, иного выхода у нас нет! Через неделю все мыши в крепости будут съедены, и вся надежда только на тебя.

Придворные угодливо захихикали, но Лискибиадес не обратил на них никакого внимания. Он не отрывал глаз от де Лиса и обращался только к нему:

– Ваше хвостосиятельство! Как только мудрая Софи принесла нам ужасную весть, я поспешил в библиотеку гномов и там, среди древних рукописей, наткнулся на пергамент, в котором написаны удивительные вещи...

– Какие все же? – осведомился де Лис.

– В частности то, что драконы мяса не едят, граф, поверьте... только траву... Здесь так и написано, даже рисунок имеется...

В зале поднялся переполох. Лискибиадес явственно слышал произносимые в его адрес фразы: “Бестолковый старик!”, “Облезлохвостый шарлатан!”, “Выскочка, лжеученый!”. Лискибиадес был растерян, но стоял на своем: – Я же не о всех драконах говорю, – твердил он в смущении, – я говорю только о тех, кто подходит под описание мадам Софи! – Потом, раскрыв перед Софи свиток, спросил: – Похоже?

– Может и похоже, – приподняла крылья Софи, – но утверждать наверняка не могу, вы же знаете, я днем плохо

вижу.

Свиток обошел весь зал. С соблюдением принципа старшинства все внимательно рассмотрели рисунок дракона и подпись под ним.

Пергамент уже возвращался к Лискибиадесу, когда сверху раздалось карканье, и в оконце показалась Зита.

– Ваше хвостосиятельство, – каркнула она де Лису, – простите, что без разрешения вмешиваюсь в ваши дела, но у меня ведь сердце не каменное... Пока вы тут совещались, я успела слетать к гномам и принесла их ответ.

Де Лис взглянул на Зиту, потом перевел взгляд на Софи и, как бы получив от нее безмолвное согласие, пригласил ворону в зал.

– Спускайтесь к нам, мадам Зита, никто вас здесь не тронет. Как бы мы ни были голодны, мы стольким вам обязаны...

– Но я ведь принесла плохие вести, граф?! – сказала Зита осипшим от волнения голосом, но к трону все-таки слетела.

– Мы благодарны вам за то, что вы сделали для нас... И все же, что сказали гномы?

– Они бессильны против драконов, – сказали они, – их колдовство распространяется лишь на обитателей этого леса, а ваш дракон появился из-за тридевяти земель... О нем они узнали раньше вас и если бы могли что-нибудь сделать, непременно бы вас выручили, им ведь тоже грозит голод... – всхлипывая закончила Зита свой безрадостный рассказ.

Де Лис никогда не видел плачущей вороны, но, не подавая виду, с прежним спокойствием заметил:

– Милая Зита, олезами горю не поможешь. Не будем подавать дурного примера молодежи. (При этом де Лис

с деланной улыбкой бросил взгляд на фрейлин и вновь обернулся к вороне). – Да, оплакивать нас рано, но вот подумать не мешает. Попросим мадам Софи еще раз рассказать о встрече с драконом. А вдруг были упущены какие-то детали? Вы были так взволнованы!.. Может быть, прищелица угощалась травой, когда вы к ней подлетели?

– Травой? – переспросила Софи. – Нет, травы она не ела! Она вообще ничего не ела, она дремала. Возможно, у нее нет аппетита, потому что она в дурном настроении... Прошло уже немало времени, как она сбежала от родителей, живет одна-одинешенька и плачет... Мне кажется, она довольно безобидное существо... Но, тем не менее, почему-то требует лисиц...

– Потому-то и требует, что она лисоед и порядком изголодалась, – воскликнул Лисентий, бросив уничтожающий взгляд на Лискибиадеса.

– Не будем возобновлять спора. – примирительным тоном сказал де Лис и, на какое-то мгновение задумавшись, продолжил: – Между нами говоря, если она их не ест, на кой черт ей целых тридцать лис?

– А я знаю, на кой! – пискнула одна из самых пушистохвостых фрейлин и в тот же миг стыдливо спрятала нос в мех рядом стоявшей подруги.

– Мы вас слушаем, мадемуазель, похоже, наша судьба в ваших руках! – лукаво улыбаясь, обратился к ней де Лис, но увидев, что она не собирается говорить, повторил уже серьезным тоном: – Мы слушаем вас, Рената!

Рената взволнованно размахивала пушистым хвостом словно веером, но отступить было некуда.

– Да, знаю! Дракониха не замужем и одинока... Вы же сказали, что она не замужем? – обратилась Рената к Софи. Софи кивнула головой в знак подтверждения.

– При чем тут замужем или не замужем, – вмешался де Пронырио.

– А при том, что... – начал было де Хитрулио, но осекся и беспомощно взглянул на Ренату, так как действительно не знал, при чем. Рената пришла ему на помощь.

– Она одинока и ищет себе пару, такого же длиннохвостого, как сама... У нее ведь длинный хвост? – переспросила Рената у Софи и снова получила беззвучное подтверждение. – А как она выйдет замуж, если не постарается понравиться, а понравиться кому-то можно только укутавшись в роскошные меха... Она хочет сделать из нас боа! Если бы мы бегали вроде нее, в чем мать родила, не имея ни одного поклонника, может, еще и не так озверели бы...

В зале снова поднялся шум: “Глупости!”, “Дракон и любовь – что может быть нелепее!”, “Любовь всеильна!”, “А Рената почему не замужем?” – слышалось во всеобщем гаме.

Де Лис гневно лязгнул зубами – “Замолчите!” – и выжидательно уставился на визирей-баронов.

По мнению барона Хитрулио, Рената была права, любовь действительно всеильна, но дракон безусловно хочет съесть лисиц.

Барон Пронырио утверждал, что Рената ошибается и дракону чуждо возвышенное чувство любви, как, впрочем, и плотская любовь.

– Или любовь к плоти? – прищурившись спросил предводитель лисиц.

– Да, да, именно любовь к плоти, – тут же согласился барон.

– Тогда для чего ей тридцать лисиц?

– Для развлечения, только для развлечения, ведь



говорят, что она в печали, – скороговоркой закончил фразу де Хитрулио, пряча глаза.

Старейшина бесхвостых Лисентий, которому полагалось говорить после баронов, громозвучно объявил мнение ветеранов:

– Ваше хвостосиятельство! Говорить о любви тогда, когда решается судьба нашего царства, это оскорбление памяти наших хвостов, и мы требуем, чтобы мадемуазель Рената публично извинилась перед нами!

Де Лис бросил на него изумленный взгляд, но, не растерявшись, избрал примирительный путь:

– Сеньоры! Вспомните свое рыцарское прошлое! Разве не вы самоотверженно боролись против Севастия и этих безжалостных фокстерьеров – Фани, Фанфана и Фандора?! Кто одержал победу? Не ты ли, Лисентий, пожертвовал хвостом, чтобы спасти мать Ренаты? Не ты ли, бесстрашный Лисиарес, перегрыз себе попавший в капкан хвост? Что с вами случилось?! Куда подевалось ваше рыцарство?! Может быть, мадемуазель Рената и ошибается, но давайте не будем рычать на нее и обвинять в кощунстве. Взгляните, как она молода и прекрасна! Кто же должен мечтать о любви, как не она и ее подруги! А мы, старшее поколение, подумаем о делах государственных, – де Лис перевел дух и для подтверждения своих слов обратился почему-то к Софи, – разве я не прав, уважаемая Софи?

Софи выпучила свои и без того вытаращенные глаза и громко, скандируя, произнесла: Я думаю, что мадему-а-зель Ре-на-та пра-ва!

Зал замер в ожидании решающего слова предводителя, и де Лис собрался было начать его, как раздалось карканье Зиты:

– Прежде чем вы придете к какому-нибудь решению,



пушистохвостые, должна сказать, что, возвращаясь от гномов, я услышала от уток о каком-то драконе, живущем по ту сторону пролива, на туманном острове, в неделе лёта отсюда... Они видели его, одиноко плавающим в озере... Он огромный и страшный на вид...

— А может быть, на наше счастье он возьмет в жены эту проклятую дракониху без всяких мехов, — вырвалось у де Лиса.

Придворные хранили молчание. Бароны Хитрулио-Пронырио уже не помнили, что говорили ранее, и помалкивали. Бесхвостые гипнотизировали взглядами то Ренату, то Софи, то Зиту. Они были убеждены, что граф ошибается, но не знали, стоит ли затевать спор сызнова.

Почти сроднившаяся с лисицами ворона тем временем продолжала тараторить: — Я не буду Зитой, если через пять дней не принесу вам радостную весть! Вы еще не знаете, что такое настоящая ворона...

Тут Зита встретила с испытующим взглядом графа и умолкла.

— Уважаемая Зита, вы действительно можете принести нам через пять дней весть о заморском женихе? — спросил ворону де Лис, не отрывая от нее глаз.

Зита прикусила язык — как могла она в пять дней покрыть расстояние в неделю лёта и на кого бы она оставила своих только что вылупившихся птенцов?

Как будто прочитав ее мысли, Софи негромко проговорила:

— О птенцах не беспокойся, пушинка с них не слетит, и голодными их я не оставлю, — эти слова прозвучали так убедительно, что ни одна мать не усомнилась бы в их искренности.

— Так пожелаем счастливого лёта нашей маленькой спасительнице! — сказал де Лис, делая шаг по направ-

лению к Зите, но та вдруг пулей взлетела вверх. Чем был вызван столь стремительный улет – неотложностью дела или врожденным недоверием, никто не понял, но выглядел он очень смешным, и лисицы от души расхохотались... Даже самые неулыбчивые из них – ветераны – и те смеялись.

Воспользовавшись моментом, де Лис, желая сделать приятное бесхвостым, обратился именно к ним:

– Мужественные рыцари! Вы все-таки готовьте план военных действий. Если к тому же сумеете выкроить время и потренируете новичков-охотников в нашем искусственном курятнике, буду вам многим обязан. А сейчас всех приглашаю на обед! – он протянул лапу в сторону соседнего зала. – Думаю, не осудите, угощение – из одних мышей!

Пятый день уже подходил к концу, когда на зубец крепостной стены опустилась обессиленная Зита. Услышав об этом, де Лис на мгновение отбросил привычную степенность и одним прыжком очутился на балконе дворца.

– О быстрокрылая и благородная птица! – обратился он к Зите. – Столь долгожданного вестника следует принимать во дворце со всеми почестями, но поскольку мы все сейчас здесь, во дворе, скажи нам не медля, какую весть ты нам принесла.

Гордо воздев клюв, Зита торжественно прокаркала: – Лисье царство спасено! – Всего мгновенья, а может быть, и сотой доли мгновенья хватило сиятельнохвостому обществу, чтобы прийти в себя от охватившего их счастья. “Ура-аа!”, “Да здравствует Зита!” – грянуло снизу.

Восседавшая на зубце Зита поминутно кивала клювом в знак благодарности, понимая, что подобные минуты

счастья никогда больше не повторятся, живи она хоть триста лет.

Холодные глаза де Лиса на сей раз излучали тепло.

— Слово рыцаря, — заявил с балкона лисий граф, — отныне весь вороний род нашего леса станет зубоне-прикасаемым для всех поколений нашего лисьего царства. А теперь, о быстрокрылая спасительница, прошу в зал, расскажи нам все в подробностях.

Сова Софи плавно опустилась на пол перед тронем, когда лисицы с соблюдением старшинства расположились вокруг своего предводителя.

Зита едва дышала от усталости, но всеобщее внимание удваивало ее силы.

— Я видела его, ваше хвостосиятельство, видела, — восторженно начала она свой рассказ, — был туман, но я его разглядела. Тамошние вороны подсказали, где его искать. Я разговаривала с ним... Его зовут Генри. Он тоже сирота, но такой урод, что в сравнении с ним наша Клара просто красавица. (Фрейлины игриво захихикали).

— Значит он одинок и непрочь жениться? — изумившись, спросил ворону де Лис.

— Конечно! Знали бы вы, как он обрадовался... Он думал, что совершенно один на этом свете. С тех пор, как умерли его родители, он драконов в глаза не видел...

— Оба единственные у своих родителей, — простонала одна из фрейлин.

— Так или иначе, но мы кажется действительно спасены, — с облегчением вздохнул де Лис и снова обратился к вороне, — а про боа ты спросила?

В глазах Зиты мелькнула растерянность.

— Кому нужно это боа, ваше хвостосиятельство, — тут же нашлась она, — он ведь целыми днями плавает в воде,

и жена его там же будет жить! Я лишь описала внешность Клары, и он пришел в дикий восторг. Скорее, говорит, лети обратно и доставь ее сюда.

Де Лис задумался.

— Вообще-то надо было взять с него слово рыцаря, что он не возвратит нам нашу голобосую невесту. Может, они не берут жен без диковинного наряда?

— Ни за что не вернет, а невесту доверьте мне и не позднее завтрашнего утра дело будет сделано, — решительно вмешалась в разговор Софи.

Едва рассвело, как Софи и Зита уселись перед носом у драконихи. Клара еще спала. Во сне она стонала, звала кого-то. Видимо, ей снился дурной сон, потому что, проснувшись, она долго не могла осознать, где находится, и бессмысленно смотрела на прильнувших друг к другу от страха сову и ворону. Прошло какое-то время, прежде чем Клара поняла, что странное четырехглазое и двуклювое существо перед ней состоит из двух птиц, причем с одной из них она знакома.

— А-а, это вы, — вяло поздоровалась дракониха с Софи и так зевнула, что Зита мигом отскочила назад. Эту неожиданную прыткость Клара восприняла как воронье приветствие и в ответ тяжело кивнула головой. Софи, разумеется, все поняла и представила Зиту драконихе.

— Мадемуазель Клара, перед вами мой друг и прекрасная ворона Зита, — и тут же добавила, — к тому же молодая мама. Мадемуазель Клару, мне кажется, представлять излишне...

— Я знаю вас издали, точнее сверху, — вступила в разговор Зита, — я вам радостную весть принесла!

Клара оживилась.

— Что за весть? Откуда? Я такой сон видела...

Тут в разговор снова вмешалась сова.

– Если сон был плохой, значит известие будет радостным!

– Вы что, умеете толковать сны? – изумилась Клара.

– Ну как вам сказать – в некотором смысле, да...

– Скажите, милая, что должно значить, – начала было Клара, но тут голос у нее пресекся и огромные глаза заполнились слезами, – нет, я не могу пересказать этот сон...

– Воля ваша. А у нас действительно хорошие новости, – ободрила Софи погрустневшую Клару.

Успокоившись, Клара вновь проявила интерес к разьединившейся паре:

– Так какие же это новости?

– Наша Зита была на той стороне пролива и нашла там для вас жениха! Молодого, красивого, с собственным озером. Его зовут Генри... Вот уже третий день он сидит на берегу и ждет вас.

– Это правда? Жених? – голос у Клары дрогнул. – Он ждет меня? Но ведь мы не знакомы! Вдруг я ему не понравлюсь, и он не женится на мне?!

– Что вы говорите?! Он дал слово рыцаря! В наше время еще никто не нарушал данного слова! – тоном, не допускающим сомнений, заявила Зита и добавила: – Я за все отвечаю!

– Как это вы? – искренне удивилась Клара, поскольку не могла себе представить, какой может быть спрос с общипанной вороны, если и впрямь ей откажут.

– Да, отвечаю! – не унималась Зита. – Я, между прочим, из-за вас в пятнадцатидневный полет отправилась и птенцов оставила, – голос у нее задрожал.

Кларе стало неловко, что она довела до такого состояния это маленькое и беспомощное существо.

– Ладно, я согласна! Но как я отправлюсь в путь, если не знаю, куда идти, и потом у меня нет боа!

Софи насторожилась.

— Мадемуазель Клара! Мы все предусмотрели. Зита предупредила в дороге своих друзей, а поначалу путь вам будем указывать мы.

— Все равно, без боа я ни шагу не сделаю, — заупрямилась Клара, — пусть лисицы сидят за своими семью замками, в конце-концов когда-нибудь проголодаются...

Но тут показала себя Зита.

— Мадемуазель! Забудьте о мехах! Когда я заговорила о них, сэр Генри чуть было меня не убил! Лисий мех вызывает у него такую аллергию — просто ужас! Он начинает беспрерывно чихать, и озеро выходит из берегов!

Клара пристально уставилась на ворону — “не врет ли?” Но Зита не мигая выдержала этот взгляд, и наивная Клара поверила — “наверное, этот Генри и вправду не выносит меха...”

Сборы в дальний путь были краткими. Клара явно нервничала и поминутно просила ворону: — Еще раз облети меня — как я выгляжу? — Мнение Софи ее уже не интересовало, так как болтушка Зита проговорила, что совы днем плохо видят.

Наконец, все было готово. Прошел дождь, и процессия, состоящая из вороны, совы и драконихи, пустилась в путь. Они шли медленно: впереди — вприпрыжку Зита, за ней — вперевалку — Софи и в конце лениво ползла Клара.

Глядя на мытарства Софи, Клара предложила:

— Все равно ты меня провожаешь до края лужка, так что не мучайся, садись ко мне на спину. Но сова категорически отказалась:

— Поклажа невесту не красит!

Когда процессия приблизилась к замку де Лиса, Софи впервые пожалела, что плохо видит днем — конечно же,



все лисье царство, без исключения, высыпало сейчас на крепостную стену, ослепляя окрестности своим блеском и красотой.

Зрелище действительно было удивительным, хоть и не таким ярким, каким представлялось Софи. Вымокшие от дождя, с удлинившимися от любопытства носами, лисицы скучились между зубцами крепостной стены, размахивая мокрыми хвостами. Только де Лис стоял отдельно от остальных и молча смотрел, как убирала дракониха огромный ствол, запиравший перекидной мост. Вскоре странная тройка продолжила путь.

Трудно сказать, о чем думал предводитель лисиц, глядя вслед удаляющейся процессии, – радовался ли, что его царство так счастливо избежало опасности, или сожалел, что жизнь возвращается в свое привычное русло – с кражей кур, дворцовыми сплетнями, непрекращающейся враждой с Севастием и сельскими псами....

Снова пошел дождь... Клара продвигалась осторожно, боясь наступить на впереди идущую Софи. Вид вымокших лисиц почему-то расстроил ее и утренняя радость куда-то испарилась. Сейчас она даже представить не могла, как мог украсить ее сверкающее от дождя тело мокрый мех тридцати лисиц, или чьи уши смогли бы выдержать отчаянные лисьи вопли, пройди Клара мимо крепости в своем злополучном наряде... Какое счастье, что у Генри аллергия на мех, – подумала она, мотнув мокрой головой, сбросила набежавшую слезу и продолжила путь.

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ



Посвящается Ирине Емельяновой и памяти

Вадима Козового

АНДРЕЙ НОЕВИЧ Д.– П. П. СУВЧИНСКОМУ*

(Отрывок из романа “Эрзац продолжает шутить”)

1978, июнь-июль

Дорогой моему сердцу, исключительно близкий
моему духовному складу Пётр Петрович !

Пишет Вам (осмелился писать!) человек, сошедший
на нет. Из Грузии, грузин.

У меня оговорка насчёт “сошедшего на нет”. А мож-
ет, и две. Во-первых, я скорее “да”-ист, чем “нет”-ист.
По жизни вообще, можно сказать, по мировоззрению.

*Сувчинский Пётр Петрович (1892, Киев – 1985, Париж) – русский музыковед, мыслитель.

С 1919 года жил в эмиграции (сначала в Болгарии, с 1922 – в Германии, с 1925 до конца жизни – во Франции). Вместе с Л. П. Карсавиным, И. С. Трубецким, Д. П. Святополк-Мирским, Г. В. Вернадским и другими был вдохновителем Евразийства – общественно-идеологического движения, сыгравшего значительную роль в интеллектуальной жизни русской эмиграции в период между двумя мировыми войнами. Издавал и редактировал печатные органы движения.

Был близким другом (часто и советчиком в творчестве) И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева. Дружил с другими видными музыкантами, философами, поэтами XX века (среди них: Оливье Мессиа́н, Пьер Булез, Николай Бердяев, Лев Шестов, Марина Цветаева, Алексей Ремизов, Антонен Арто, Анри Мишо). Вёл многолетнюю (с перерывом) переписку с Борисом Пастернаком.

Архив Сувчинского хранится в Национальной библиотеке Франции, в Париже.



Во-вторых, я имею в виду мои соматические ресурсы только. Ваш покорный слуга – врач, бывший хирург с малодушной привычкой ковыряться профессиональным оком в своей брэнной оболочке, как замороженный ...

Погоди-ка, Андрей Ноевич, что ж получается? (Это я себе) Малодушная привычка – водянистая вода, красная кровь... Забыл как называется этот род тавтологии – метонимия, что ли? Нет же... Две оговорки в первом же абзаце, сомнительное обращение – стыдно! “Ваш покорный слуга” – невозможно. Хватило ума не докончить “как замороженный...”, но ничего, это ещё можно превратить в позор. Пример: как замороженный течением реки. Не говоря уже о том, что кощунственно жаловаться на истощение физических сил человеку на восемь лет старше себя. Конечно, ресурсы каждой сомы индивидуальны, но после определённой возрастной планки, согласитесь, они всё ж приобретают общее звучание.

Ну, значит, черновик! Пётр Петрович, это только черновик моего к вам послания. А может, воззвания. Слово “воззвание” нечаянно срывается с моих уст, с чего бы это?

Черновик! Отлично! По возможности и в зависимости от стоящей передо мной цели буду наносить на бумагу всё, что имею для вас и на вас в себе по сей день (одному Богу известно, что там осталось после стольких лет). А потом уж разберусь, что будет можно вам написать.

Спрашиваю себя: откуда вдруг это желание обратиться к вам – великому арбитру музыкально-философско-поэтических дел? Да ещё не зная, живы ли вы, какой у вас адрес? На деревню дедушке, что-ли? В Париж П.П. Сувчинскому? Выкрикиваю в форточку: “В Берлин!”. Простите за Белого на мой дурацкий лад.

О-о, мне страшно больно сейчас. От неизведанности



грядущих форм моих мыслей к вам, их уровня! Хвала тем, кто умеет сносить эту боль! Дважды хвала тем, кто умеет от неё вылечиться! Трижды хвала тем, кто . . . Ладно.

Ваш адрес мне неуверенно обещали. Когда его заполучу, хочу, чтобы письмо уже было готово. Не вправе терять ни минуты. Следовательно, я поскорее должен определиться в основных пунктах. Не так-то это просто. Предстоит провести что-то вроде reanimation. Одушевление заново. В моём-то возрасте?! Не смешно ли? Опять нагло оскорбляю вашу седину. Но этого вряд ли можно будет избежать и дальше.

Так смешно ли одушевление чего-либо мною на данный момент? Вооружимся верой в тупике! И вспомним – я “да”-ист, а не дадаист. И захотелось крикнуть во всё горло: верю в возможность стыковки с вами, даже после стольких лет самого латентного присутствия вас во мне.

Желание написать вам и первые смутные вариации возникли ровно две недели назад, когда мой десятилетний внук, обычно расположенный ко мне, жёлчно передразнил меня, что задело необычайно больно, явно несоразмерно его жёлчи и заставило задуматься.

А дело было так: мы сидели с ним у меня в комнате. Занимались каждый своей безделкой – я читал газеты (простите, советские), он вырезал портреты спортсменов. Зазвонил телефон. Я, надо сказать, в последние годы весьма к нему пристрастился. Пристрастился – значит, против собственной воли.

Звонила старая знакомая, вдова такого же знакомого. Я начал говорить, а ребёнок Leon стал следить за моей речью. Интерес к речи прививал ему я. Мне казалось, я говорю хорошо, даже как будто был в ударе. Дама была

бывшая красавица, а бывших красавиц в Грузии умеют чтить. Это такая добрая традиция. Добрая ли? Простите, всё это чушь.

Так или сяк, но я рисовался. И если начистоту, смаковал старушечьи нотки в её голосе. Когда я с досадой поймал себя на этом бесславном занятии, начал нежно подшучивать над ней. То есть: она жаловалась на уборщика могилы её супруга, курда по национальности (курдом был уборщик, ясно, не супруг), а я ей: “недаром Вас мама с папой Ксенией назвали”. Она удивилась – при чём тут её имя. Я – в двух словах о ксенофобии. Она же в ответ стала утверждать, что Грузия феноменально толерантна и никакой ксенофобии, в частности в её натуре, нет. И что шутка или каламбур мой слаб и жалок. Всё это она говорила с каким-то тарахтящим кокетством, если вообще такое возможно: кокетничать тарахтя. По крайней мере, со мной. Дальше она принялась плакаться мне в материальном аспекте, прогнозировать будущее в черном цвете et cetera.

Не считая нужным показывать своё разочарование, я во стократ усилил уважительную интонацию. А тут моя дурацкая привычка – во время затянувшегося телефонного разговора трубка начинает удаляться сначала от моих губ, а потом и уха. На это указывали мне все, кому не лень, но отучиться от этого я так и не смог. Зато добрался до истоков этой причуды и даже возгордился.

Дело в том, что совсем ещё юношей я возомнил себя вербальным гурманом. Доводя это гурманство помолодости до крайностей, я стал с трудом переносить живую речь даже маститых поэтов. Впоследствии у меня возникли серьёзные проблемы в простом общении и на работе. Я предпочитал общество молчунов, когда они молчали даже в самых нелепых обстоятельствах. Я

просто требовал этого от окружающих.

Эта непопозволенная роскошь доводила меня до сумасшествия. На выручку пришла, конечно же, любовь, христианская, общечеловеческая. Но вылечивался я поэтапно. Кстати, и с женщинами всё проходило по выработанной мною в ту пору общей схеме. Почти. Заговаривал я с ними, лишь когда чувствовал уже настоящую приязнь. А потом мог слушать даже их полит-агитационный и теософский бред...

Вернувшись в Тбилиси в 1949 г. после четырнадцати лет лагерей и поняв, что меня по-настоящему, почти нечеловечески, божественно ждали, я испытал “грандиозное умиление” и стал болтуном.

Так что моё вербальное гурманство, которое было и, наверняка, осталось имманентно самому субстанциональному моему ядру, не найдя выхода в столкновении с общепринятыми поведенческими нормами, сказалось в той самой привычке.

Да, трубка уплыла от меня и в тот день. А дама продолжала говорить. И мне под конец на недослышанное пришлось несколько раз откликнуться своим “а-а-а?”, которым я сам же остался крайне недоволен.

Окончив разговор, я сидел ещё под его впечатлением, как вдруг у уставившегося на меня ребёнка вырвалось то свержзлюбное “бе-бе-бе-бе!”. Он сразу испугался своей, мягко говоря, бестактности, подбежал и повис у меня на шее. Но оправился я не сразу, если вообще оправился.

То, что это “бе-бе-бе-бе” никак не вписывалось в категорию “просто так”, а было ответным ударом, я понял сразу. И сразу же, на всякий случай, спросил себя – не нанёс ли я ему оскорбление этического толка? То есть: переусердствовав во флиртовых нотках к той особе,

обидел его, обожающего свою драгоценную бабушку (мою жену). Кстати, я однажды был свидетелем его отчаянно ревнивой выходки против отца из-за сущего пустяка. Вообще моего мальчика ранили в этом отношении, еще до рождения. Мда-а, видимо, досталось тогда и мне, коли рука не слушается меня.

Итак, мог ли я бередить эту... эту – хочу быть точнее – материнскую боль в нём (насколько она им *осознана*, можно только гадать, но присутствие ее несомненно).

Всё, конечно, может быть, но в данном случае маловероятно. Да в его глазах я давным-давно устарел для обвинений в адюльтере. Но даже если не так, эти вдовьи телефонные звонки и долгие беседы были для него абсолютно привычными (по причине особого рода моей теперешней деятельности). Более того, с двух-трёх лет он участвовал в большинстве из них. Как это происходило? Они звонили по делу, я же, помимо дела, заинтриговывал их своим чудо-мальчиком. Ну, единственный внук, сын единственной дочери. Они с лёгкостью подвергались “интриге”, ибо я кое-что для них значил в тот, как правило, переломный момент их жизни (опять-таки по роду моей деятельности). И они, в свою очередь, старались заполучить его-ангелочка в собеседники. Leo доводил их до реальных восторгов – декламируя стихи (я составил ему приличную антологию), рассуждая на разные темы... В ответ они совали ему своих деток, тоже со стихами и рассуждениями. И началось такое тайное соперничество по телефону с меняющимися во времени персонажами. Но Leo оставался самым-самым, мой платиновый чайлд! Без преувеличения.

Бывало, нас с ним звали в гости для продолжения знакомства, дабы дети из хороших семей не растеряли друг друга дальше по жизни, но я воздерживался – было

совестно обречь его уже на явное соперничество или суету. Да и вообще свой успех, т. е. самого себя, человек должен творить вдали от глаз ближайшей родни. Эти глаза неприличны, во всяком случае, на людях им не место, они уместны лишь в точно подобранной интимной оправе — в ней порою они смотрятся даже благородно.

Так что мы продолжали в начатом духе. Потом Leo пошёл в школу. А лет этак с семи наотрез отказался быть слепым орудием дедовского трепя. Но вместе с тем, если ему приходилось брать трубку, а на линии оказывалась старая знакомая, он мог порядком покраснобайствовать на взрослые темы, да так, что иной раз тревожил меня. Но, в основном, в таких случаях в его голосе проступала какая-то жалостливая приязнь к моим товаркам. Она бывала неподдельна и тем хороша.

Вообще, скажу я вам, это было лишнее — об этическом уязвлении мальчика. Дело всё-таки в моём неудачном “а-а-а?”. Оно и вправду было позорным, старчески безответственным перед собственным полом. Обидно, ей-богу, ведь не сосудистого же подвига экс-красавица от меня ждала. Впрочем, неважно, чего она ждала, самому надо было соответствовать.

В общем, оскорбил я не *этическое*, а *эстетическое* чувство внука, а в детях оно очень развито. Много более чувства *справедливости*. Вот такая микрокосмогония самогонная от А. Н. Д.

Внук, мой платиновый малёк, слишком много для меня значит. И я немедля желаю себя перед ним эстетически реабилитировать. Несомненно, в дальнейшем я могу бдеть за положением трубки во время телефонного разговора и не давать волю старческим воплям. Но... но, а если я слягу в ближайшее время? И он будет видеть



всё с этим связанное? А ещё непростительный избыток моего веса, который усугубит эстетический дефицит?

Кстати, мой вес – результат того же “грандиозного умиления”. За год тогда я поправился на тридцать пять килограммов. Всю жизнь был склонен к полноте. Насколько запечатлелся мне ваш образ с давнишней фотографии, наши соматипы не взаимоисключающи. Я по-детски рад и придаю этому значение.

Не стану утверждать, что сознательно прибавил в весе, но я сознательно этому не мешал. Весь запас своей “левой энергии” я пустил в это русло, чтобы не поскользнуться на коллаборационизме. Хотя, признаюсь, – продегустировал несколько модусов отношений человека с режимом, для последнего приемлемых. И не только продегустировал, а нашёл-таки подходящий для себя вариант (хоть и случилось это позднее) – внедрившись в одну из его, режима, структур, ну, в профсоюзную, зацепал, как ни странно, совершенно богоугодную деятельность. Вы можете спросить, почему я не вернулся к своей и без того в высшей степени богоугодной профессии. Хотя церковь её таковой отнюдь не считает, да? Мне достаточно, что я так считаю, но, милейший, у хирурга должны быть железно-твёрдая пластика рук и каменная выносливость ног, не говоря уже о бого- и провиденьеборческом заряде. Без этого хирург не хирург.

Но зато я осознал себя изворотливым. Услышь такое, мои близкие покатались бы со смеху, но я на самом деле на редкость изворотлив. Изворотлив в собственных целях: вкуса (из любых уст это звучит самонадеянно), миррапацифизма, памяти, нежности... Ощупью, ощупью и приехали-таки к мягкости, к “медлительной мягкости”...

Я гуриец (*гурули*), а “медлительная мягкость” Гурии, её ландшафта и людей – из эссе Григола Робакидзе

“Гурия и социализм” (Гурия одна из провинций Западной Грузии). Оно очень маленькое, это эссе, но лишь проштудировав его, я узнал в себе гурийца. К счастью, я точно не глух к вибрациям высокого грузинского слова (а ведь рос и вырос в России), говорю на грузинском без акцента, но, ознакомившись с моими письменными перлами на нём, никто в это не поверит. Это моя трагедия и совершенно непонятный изъяс. Нет, скорее понятный – видимо, чаще я лишь интуитивно и по звучанию угадываю удачу грузинской фразы. Потому мне всегда трудно повторить понравившееся, хоть и сто раз прочитанное.

Но то эссе мне хорошо запомнилось в силу его программности лично для моей скромной персоны. Да, да! Его образы приблизили и открыли мне обитель моих прямых предков лучше отцовских рассказов. Ещё бы, Робакидзе – классик первой величины, не только среди запрещённых. Он в своё, вернее, совершенно не своё, время (1930) эмигрировал в Германию. Мне было бы приятно узнать о вашем с ним добром знакомстве. Помнится, “На путях” издавались в Германии, но нет, то было раньше. Pardon, с’est la rêve* простачка от Прекрасного.

Достойное краткое изложение робакидзевского текста – дело безнадёжное, как, впрочем, любого Текста.

Но всё-таки постараюсь донести до вас главную мысль эссе: итак, беда Гурии в том, что в ней *все* даровиты, т.е. гурийцу знаком нищепанский “пафос дистанции”, более того, он ему имманентен, вместе с обострённым чувством собственного достоинства, которое, если задеть, может превратить мягкого *гурули* в свирепого *тирალი* (разбойника-партизана), вместе со склонностью

* (Фр.) – простите, это мечта.



к красивой одежде и жилью и т. д., но этот пафос не доведён им до крайности, т.е. в Гурии ещё нет той бездны между творческой личностью и массой, которая считается двигателем культурного роста (или скачка? — А.Н.Д).

Именно в этой всеобщей равной даровитости и амбициозности на фоне всеобщей же жуткой нужды видит писатель феноменальную тягу гурийцев к социализму. Мой отец весьма примечательный пример этой тяги.

Что меня сразило, так то, что Робакидзе сделал оптимистический прогноз. Дабы избежать неточности, я предложу Вам кальку: Гурия пока ещё движется по инерции серьёзного культурного наследства. А когда гуриец лишь воспользуется этим наследством с приведением в движение новых сил, тогда... Тут я кальку прерываю и далее следует моё: тогда в один прекрасный день он проснётся с фаустовским аппетитом в своей убогой постели.

Знаете, мне кажется, всеобщая даровитость как проблема присуща всей Грузии. Но не нужно драматизировать — ведь всегда найдутся одиночки и, слава Богу, находились (тот же Григол) этим недовольные, да просто несчастные от этого! В результате у них разгорался поистине фаустовский аппетит, по-нашему галактический. Жаль, что вы не узнаете примеров утоления галактического аппетита в силу их непереводаемости. Они ужасающе перфектны.

Так я говорил о моём весе?! То, что я не мешал его наращиванию, вовсе не говорит о моём равнодушии к визуальной стороне дела. Напротив, я усердно искал ей оправдания и позолоты.


Это усердие сперва было направлено на возведение эстетико-философской основы для моего, простите,

обжорства, но уже без нравственного или политического подтекстов. Я начал собирать картотеку соматипов известных людей с целью сопоставления с их же психотипами, данные о которых черпал преимущественно из результатов их созидания по специально выработанной мною системе, биографам доверял меньше. После многомесячной предварительной работы, которая была откровенно ущербна своей витиеватой сложностью, я состряпал теорию об анатомической соразмерности (в пользу собственной конституции!), а чуть позже и концепцию об оптимальных синтетических типах *habitus*-а – ну, полный бред и фашизм, я вам скажу. От той чуши до сих пор меня мутит. Я испытал тогда страх! И проклинал эпоху.

После мучительного фиаско я начал записывать свои наблюдения и размышления уже о еде. Толчком послужил прочитанный в юности древнекитайский поэтический трактат об идеальной еде, о пяти обязательных вкусовых ее компонентах. Ну, изумительная вещь, литофания этакая! Признаться, я издавна питал зависть к восточной эстетизации быта. И вот помыслил я подвести идеологию к эстетизации грузинской кухни. Да ещё возжаждал воспеть стихами все её блюда. Но, если честно, делать это на русском не стоило – нужный для этого регистр в нём, думаю, ещё не задействован, не выступать же мне первооткрывателем? Трагикомедия какая-то.

Я вовремя опомнился. И вот как-то вдруг пришла мне простая, но дельная мысль – нет лучшей позолоты для сомнительной фигуры, чем умно подобранная и безупречная в исполнении одежда. И на старости лет я стал жутким франтом – а la Черчилль без сигары.

Но, думается, я не вправе утаить от вас день, когда



все эти страсти начали поочерёдно вылупляться, перевернул мою жизнь. 24 августа 1950 года. У пятидесятилетнего папаши родилась дочь! Ната!

О серпантин могучих биений! Только ли моего сердца?! Да не смел я верить в беременность жены, тем более надеяться на дитя. Но случилось же оно, это дитя! О колоссальный серпантин!

Кесарево моментально срифмовалось с роялем! Никакого piano! И я удрал из роддома, забывшись в главном.

Вы, конечно, не думаете, что в 50-м в Тбилиси можно было зайти в магазин и запросто приобрести рояль. Тем не менее, я обегал все комиссионные. Не совсем, кстати, зря: в мою дурную, ошалевшую голову вдолбили, наконец, следующее: если и имеется что-либо похожее на рояль в системе республиканской торговли, то без резолюции соответствующего министра простому смертному его не видать, как тыльных участков своего торса.

А деньги у меня были, на рояль должно было хватить.

После перевода в декабре 1947-го из Красноярска в Абакан нас – нескольких смирных сравнительно заключённых – определили в колхоз села Малакановка. Председатель из корыстных, думаю, соображений, помимо неоплачиваемой чернейшей работы у него, дал нам возможность выполнять заказы артели, производящей кожаные изделия. Спали буквально по два часа в сутки, платили гроши, но я начал их копить, продолжая голодать.

Через год с небольшим настал день, которого я давно боялся. Произошла ситуация, когда стало невозможным и дальше скрывать своё докторство от сельчан. Я знал, что произойдёт с тем парнем. У него была прозрачне-

йшая психика, и я насчитал несколько серьёзных недель, которые в ближайшее время могли его сразить. Один из них сбылся, как вещий сон. Я почувствовал некоторую вину и не смог дальше скрываться, хотя он, скорее всего, выкарабкался бы. После этого случая у меня появилась практика. Пришлось оставить работу в артели. И всё вышло наоборот: о деньгах не могло быть и речи (люди пребывали ещё в шоке от денежной реформы 47-го), зато я начал есть – и быстро набрал свой нормальный вес.

Прошло полгода моего докторства. Я ждал освобождения: арестованных в 36-м поголовно гнали на волю, а нам (37-го) обещали через полтора-два месяца. Мои нетронутые сбережения постепенно обретали окончательный смысл. Прекрасно зная, что тбилисскую прописку на первых порах мне никто не восстановит, я думал осесть в Гурии, приобрести лачугу в родном селе и зажить этаким пасторальной жизнью. А ещё мучала меня душающая жажда дотронуться до могил деда моего и бабки – чахоточной неженки, умершей двадцатипятилетней. Дед – блаженной памяти Силибистр с роскошной лёгкостью пустил на ветер своё и так скудное добро – всё ради её лечения и курортов (ясно, не европейских). А потом с маленьким сыном поселился на брошенной мельнице, видимо, показав ей белую тряпку предварительно.

Отроком отец стал ездить в Баку за солью вместо хиреющего Силибистра. Вернувшись из очередного коммерческого тура (о Боже!), он, шестнадцатилетний, застал своего родителя мертвецом двухнедельной давности. Не то, чтобы он завещал мне искупить эти две недели (да он сам их сполна искупил – мне его прах не выдали в 27-м), но ...

Я бы прямиком последовал зову этого “но” – местом

регистрации мог выбрать любой районный центр республики, в том числе и гурийский. Но в Тбилиси меня интересовала судьба одной особы. Я должен был воочию убедиться, что да как с ней. В первые годы заключения я уповал, что её никто в жёны не возьмёт, так как иметь настолько красивую жену тогда (да и всегда) мало кто отважился бы. Потом мучился сознанием того, что отважные люди всегда найдутся. А вдруг какая-нибудь партийная шишка решилась бы на такое? Нет, он ещё менее был бы защищён. А если он не отважный, а просто карьерист-сутенер? Быть не может, думал я – её в такой ситуации представить невозможно – аргументом против этого всплывали её слова в мой адрес, когда я уже был обречен: “Слышите? Это уже четвёртый петух, а я ни разу вас не предала.” – это было накануне моего ареста, в моём кабинете главврача. Я подписывал ей – маленькой фельдшерице – бумаги и характеристику для вуза.

М-да, наконец-то в своих сомнениях я остановился на скромном, простом парне – ровеснике (она была младше меня на восемнадцать лет). Но в совсем простого парня я тоже не верил, поэтому стал рьяно вспоминать выделявшихся молодых врачей.

И к стыду своему я заказал гибель на фронте этому не совсем простому парню, даже если бы он сделал ей троих детей (прости меня, Господи!). Я бы любил этих деток, даже решил отказаться от мечты о собственном отпрыске в их пользу и в память о павшем на войне (будьте, пожалуйста, снисходительны к прозе выживания).

Но встретила меня Русудан Николаевна, как я уже говорил, и это превзошло все мои мечтания, с ладно скроенным мировоззрением целомудрия, с великим смаком говорящей о преимуществе девственного в

человеческих отношениях. Моя школа, — думал я, отупевший от чрезмерного умиления.

Тем не менее, я скрыл от жены (вскоре мы поженились) не только деньги, привезённые из Малакановки, но и приумножение их в авчальском (пригород Тбилиси) художественном комбинате, куда меня, вследствие невероятных, рискованнейших усилий, пристроил её родной брат Малхаз Николаевич — в ту пору партком одного из крупнейших вузов.

Итак, ко дню явления на свет дочери деньги у меня были, и я счастлив был от них избавиться. В случае удачи с резолюцией уродство моего скрывательства превращалось в белого лебедя. Стоило дерзнуть.

А как к министру подступиться с моими-то заслугами перед его партией?

До этого по госучреждениям меня неизменно сопровождал Малхаз (цацкались со мной в семье, ух, как цацкались!). Он был рядом даже тогда, когда я потопал на ночной приём в КГБ к Кримиуну (в 1955-м специальная военная коллегия Верховного суда СССР приговорила этого гуманного товарища к высшей мере). Но как же, спросите меня, пожалуйста, я это позволил Малхазу, как? Он ведь ещё младше жены моей. Какая там проза, да это наглость выживания, его бесстыдство!

Но в тот день участие Малхаза было исключено, к его помощи смерть как не хотелось прибегать. Вообще я всегда мерил дружбу одним простым, но верным способом — степенью лёгкости, с которой мне можно просить. Мне еще в жизни не встречался человек, которого можно было просить так легко, как Малхаза. Он сразу же, будучи едва знаком со мной, создал просто фантастические условия для просьб. Настолько благоприятные, что вообще отпадала надобность просьбы как



таковой. Судите сами: он помог мне с работой, пропиской, другими документами, получив квартиру, оставил свою двухкомнатную в старом городе нам, из-за чего чуть не развелся с женой – квартира-то считалась её приданным. Хоть по действующему закону Малхаз и не смог бы удержать эту самую квартиру при себе – они ведь сказочно по тем временам расширились, но её уязвило, что она перешла именно к нам, а не кому-нибудь другому. Мол, гражданская совесть у неё не дремлет. Это давно забытая история. Все вышеперечисленные благодеяния Малхаз совершил в первые же месяцы нашего знакомства. А что было дальше! Он восстановил меня консультантом правительственной лечебницы, добыл для меня и постоянное место терапевта в той же больнице, откуда меня забрали, почему-то веря, что это окажется неплохой клинотерапией для меня, потом я заиклился на профсоюзах, он помог и с этим. А чем он был и продолжает быть для моей дочери! Но повторяю: в день её рождения я не в силах был просить его.

А виноват был я сам, т.е. ситуация, сложившаяся месяца полтора назад.

Чувствую потребность рассказать всё по порядку.

К тому времени мы уже хорошенько освоились в наших хоробах (после авчальской-то комнатухи!), и я благополучно отлеживался. Русудан с братом решили, что мне нужно отлежаться (и пальцем пошевелить не давали во славу семейного уюта, аж обидно было), и это было первым пунктом их программы моего восстановления. А вторым не менее важным: “человеческое внеслужебное общение с далеко не худшими людьми”. И вот для этого раз в неделю, а то и чаще, Малхаз звал нас на ужин к себе, т.е. к тестю – в связи с переделками в новом жилище он с женой и детьми жили у него.

Эти ужины отнюдь не были лёгкими для меня по ряду причин, но я не мог отказаться – догадывался, чего они стоят Малхазу.

Тесть его был бессребреник-сталинист, академик-геофизик, орденоносец, недавно вернувшийся из Москвы, два раза во время войны лично консультировавший вождя.

Тогда всякий выдающийся человек (даже женщина) играл в Сталина. Как ни странно, это лепило множество примечательных экземпляров в социуме. Своей угрюмостью, выдержкой, дисциплинированностью, лапидарностью слога они заставляли себя уважать. И впрямь, ты начинал ловить каждую искорку добра, человеческого тепла или слабости в их глазах и в этой погоне за искорками становился зависимым, честно. Да я просто боялся Шалвы Евграфовича! Он раньше всех всегда уходил со стола в свою комнату. Это был и мой любимый приём в своё время. И я ему завидовал. Ещё он, кажется, сильнее верил в себя, чем я в себя. А это ещё более веский повод для зависти, не так ли? Вообще, он был бы слишком уж шикарным стариком, если б не перусердствовал в своём, так сказать, игнорансе в мой адрес. Он только кивал и ни разу не обратился ко мне словесно. А к моей Русудан питал настоящую нежность, почти влюбленность, ну, безусловное приятие. Это меня не раздражало, напротив, отзывалось во мне какой-то волнующей приятностью – ведь в той безусловности должно было быть место и мне.

К сожалению, дочь у него была фиглярка, человек безудержный, полная противоположность отца, да и матери тоже – редакторши детского журнала.

О, однажды произошло нечто ужасное.

Человек десять-двенадцать сидели мы за столом. Из

тех, кого я видел впервые, присутствовали: сестра хозяйина со взрослым внуком, сотрудницы хозяйки по журналу – две вертихвостки, смеющиеся заигрывать одна с хозяином, другая – как будто со мною и какой-то сосед, тоже из профессоров, кажется. Шалва Евграфович был в весьма приподнятом настроении. Он откупорил бутылку божественного “Chablis”, подаренную каким-то баснословным китайским чином, гостившим в Кремле в 45-м или 46-м. И начал было рассказывать о милом эпизоде, связанном с этой бутылкой – охоте на лис в Подмосковье и о каком-то пари с тем китайцем. Это было неслыханно, чтобы он так разговорился. Притом дважды вставал и собственноручно наполнял мне бокал! Я торжествовал в душе – наконец-то моё присутствие ему не в тягость. Тем страшнее было мне увидеть, как вдруг недобро забежали его глазки в моём, казалось, направлении. Но нет, он глядел не на меня, а на свою дочь рядом со мной. А та, как ни в чём не бывало, вилок, простите, чистила ногти. Я сразу же потупил взгляд. Он процедил её имя. Она беззаботно отозвалась. Он зловещим тоном приказал ей подать ему табак с серванта. Она повиновалась, он продолжил рассказ, но продолжила и она. Он вскочил, я подумал, чтобы задушить её, но он взял руку Русудан, поцеловал её, нежнейше задержал в своей и удалился к себе абсолютно несчастный.

Впрочем, я отвлекся.

На тех ужинах, как вы уже догадались, я не испытывал никакого поощрения к красноречию. Так что сидел я тихо-кротко и наблюдал. Именно тогда Малхаз открылся мне с незнакомой стороны. Конечно, я и раньше замечал в нём сильную тягу ко всякого рода знаниям, но не мог и предположить, насколько воинственна эта тяга, когда дело касается афиширования её результатов. Это меня

серьёзно опечалило. За свою долгую жизнь я немало повидал бестактных спорщиков, но с таким трагическим типом встретился впервые. Если с ним случалась осечка, он впадал в какое-то страшное забытие, а если наоборот — был смешон в своём ликовании. Он долго не признавал поражения, сопротивлялся изо всех сил, мог тупо буюедствовать, портил вечер. Временами я даже думал, что Шалва Евграфович удалялся, чтобы избежать именно таких стычек.

И вот откуда-то вдруг взялась у меня уверенность, что я в силах если не усмирить, то хотя бы смягчить его воинственность.

После нескольких бессонных ночей на одном из этих традиционных ужинов я отважился назначить ему свидание. Вернее, я умышленно много выпил, радуясь этому, отдался вину и Малхаз. И вот, уходя, в прихожей я предложил ему опохмелиться назавтра в хинкальной на набережной Куры, у известного Дадуны, а заодно и поговорить. Он вмиг согласился, был счастлив — думая, видимо, что вот наконец-то я поборол свою застенчивость.

Но пришёл он туда какой-то настороженный, ироничный. В общем, полная противоположность вчерашнему, да и привычному радушию. Сидел передо мной бледнее мертвеца и молча двигал ухом — это у них семейное. Я перепугался — не мог объяснить перемену в нем. Как говорить по душам, если человек враждебно настроен. Я сник, как закатный стебелёк, и, кажется, это его вконец разозлило. Он выпил залпом и стал смотреть куда-то вдаль. Потом вдруг ударил кулаком по столу — это из-за незваных слезинок, повисших на его до комизма пушистых ресницах. Я, говорит, всегда знал, что ты уйдёшь от неё, и, не дав мне опомниться, продолжил:

дескать, сразу же почувствовал во мне некоторую скользкость, неискренность, правда, какого-то благородного свойства, а ещё всеобщую любовь к близким людям, что оскорбительно, а для влюблённой женщины вообще убийственно. Вот так точь-в-точь он и сказал. И, опять же прервав моё возмущение, пригрозил: мол, если я брошу её сейчас, беременную, он убьёт меня, а если дождусь рождения ребёнка, оставит меня в живых, но в обоих случаях я никогда не увижу ребёнка. А если Русудан в последнем послушает его, то потеряет и брата.

Кошмар, чушь, бред – конечно. Но вот что странно – сходное чувство таилось во мне по отношению к его сестре. Хотя не в скользкости я её обвинял, а ...

Видите ли, меня порою серьёзно тревожило чувство, что довольно-таки осязаемая часть её мимики и, следовательно, существа б е с п р и з о р н а. Это словесное обозначение восхитило меня в своё время, настолько точно оно оформило мою досаду, казалось, не поддающуюся определению. И появилось в моём мирозерцании страшно важное понятие *беспризоризма*. Учув этот беспризоризм в некоторых её проявлениях, я тосковал, а потом обзывал её *беспризорницей*, но про себя, никогда вслух. Ибо не мыслю обозначения беспощаднее, тем более, она и есть фактическая сирота сызмальства. Но это другое, совсем не то, я не об этом, конечно же. В моём излиянии вы вольны разглядеть банальный страх утраты, присущий отношениям, претендующим на всеохватность – так и я объяснил обвинительную речь Малхаза. Да, страх... О страхи! Но не только. А если это брезгливость?.. О боги, да пусть сожрут меня поскорее черви зубастые! Изъять всё это! Изъять! Тем более, в хинкальной (ах, да, позабыл совсем! Хинкали – это те же пельмени, только побольше

размером и формой позамысловатее) с Малхазом мне было не до беспризоризма. Я стал бурно и по возможности веско протестовать – всё это, мол, разница в возрасте и опыте, да как же они с сестрой могут компетентно разобраться в моих душебиениях и пр.

Наконец-то настал момент облегчения. По его блаженному лицу было видно, что он ожидает уже просьбу о деньгах или нечто подобное и смакует своё согласие. Но не тут-то было.

Набравшись смелости, я выложил ему своё: в знак величайшей благодарности и почти отцовского к нему отношения и в силу того, что несмотря на диктат культурного официоза, в приоритетах толкования тончайших материй мало что изменилось, да и принимая во внимание дефицит его времени, я предложил ему сжатый, но интенсивный общеобразовательный курс.

Самонадеянно, да? Вот я и поплатился за это. Ладно, рассказываю дальше. (Не смею вам описать выражения его лица – он отрезвел моментально). Я продолжал захлёбываться: буду, говорю, рыскать по библиотекам и добывать материалы, дома буду оснащать их своими компендиумами, комментариями, заметками на полях и репликами, всем, что разовьёт в нём тон, оптимальный для его личностных запросов.

В общем, предлагал я ему на подносе весь мой инициационный калибр – с навыками, методами, ухищрениями, ключами к Вселенной. Он, конечно, понял, что это ничуть не меньше того, что сам сделал для меня и сказал мне об этом – дескать, и для своего сына поленился бы сделать такое, но не в силах отказаться, настолько заманчиво предложенное.

На седьмом небе от удовлетворения, я взялся доставлять ему на дом свои подборки. Он же обещал их



собственноручно забирать. Гомера он взял и первого Платона, а за вторым не пришёл.

Мы стали избегать друг друга и краснеть при встрече. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, нам бывает тягостно оставаться с глазу на глаз, ибо тень печали от несостоявшихся тех уроков омрачает наш tet-a-tet.

А в тот день, когда мне отчаянно был нужен рояль, эта ситуация слишком свежо дымилась и душила меня. Так что порог министерства торговли преступил я один. Обуревавшая меня с утра провиденциальная прыть сделала своё – я добился аудиенции. Не к министру, но к его первому заместителю.

Я вошёл и похолодел: физиономия – хрестоматийного врага врага народа. Я хотел было сыграть внезапное недомогание или того глупее – ошибку с кабинетом, но тут пробренчал телефон. Он схватил трубку и ею же указал мне на стул. Жест получился чем-то трогательный, и мне чуточку полегчало.

Заговорил я по-русски – заслужив сначала два-три одобряющих кивка. Но не поняв, к чему я, он попросил изъясняться по существу, постучав при этом карандашом по столу.

Потянув с околичностями чуть дольше, я обесцветил бы всю мою степенность, и так едва в ту пору поддерживаемую. То что лгать противно, это одно, но от тех постукиваний карандашом, да и моих неудачных первых аккордов, я впал в крайность самообнажения – рассказал ему всё о себе нужное и ненужное, во вполне, кстати, резиньяционной манере, без всяких ноток. Потом объяснил предельную важность дня, что четырнадцать лет ждал я этого ребёнка, и разрыдался.

Он резко потребовал конкретизировать мою цель к нему.

– Рояль! – гордый был ответ сквозь слёзы.

Глаза его выпорхнули вон из орбит. Он набрал воздух в легкие и заорал. Гавкал долго, слишком громко и оттого невразумительно. Потом вытянул из левого кармана пиджака пустой рукав и начал нервно его теревить. Перейдя на рык, наконец-то, более внятно донёс до меня суть своих обиды и горечи: именно в этот день семь лет назад, а это был последний день сражений на Курской дуге, мне, говорит, оторвало руку – даже найти её не удалось, чтобы захоронить вместе с матерью... Может, я ошибаюсь насчёт матери, но что-то мелодраматическое в конце его истерики было.

– Простите, но я в этом не виноват, – сказал я более чем скромно и взял шляпу.

Он заорал пуще прежнего:

– У меня нет в продаже никакого пианино!

Да ещё : страна, мол, только поднимается, не время думать о пианино.

Я учтиво простился, но вышел убитый – столетним стариком.

Меня догнали на трамвайной остановке. Женщина. Дескать, пианино поступят через две недели и *он* мне сделает.

– Милейшая, мне не нужно пианино. Пианино меня убьёт.

Она убежала в недоумении.

Что-то не отпускало меня – пропустил один трамвай, второй, третий... Минут сорок, наверное, прошло, и она примчалась снова.

Итог был ошеломляющим: *он* списал из-за отсутствия роликов на двух ножках великолепный трофейный Blüthner, концертный, предназначенный, наверное, для какого-то Дома культуры.

И на следующее утро это громадное чудо вошло в мой дом. О белозубый священный буйвол с венгерскими штампами на животе!

Всю мою сознательную жизнь я тяготел к отношениям, которые не дают расслабиться до прозы, отношениям, когда мы не в силах *переболеть* и скакать дальше, т.е. когда нам отказано в разочаровании в *кардинальном* и *решающем*. Это сущий ужас, конечно, но сладчайший. Вот такой ужас начал твориться со мной с того дня. Как только мы остались наедине – т.е. с момента испарения последнего грузчика, я почувствовал перед ним вожделенную неловкость и пошло-поехало...

К сожалению, моя дочь ни врождённым, ни приобретённым пианизмом меня не осчастливила, но она идёт к музыке, могу вас заверить. По-своему, медленно, но идёт.

Вам, конечно, трудно поверить, что в советской Грузии в 50-м раздавали Блотнеры первым встречным. Тем более, если последние были врагами народа, а раздающие – их враги.

У меня своё видение мотива поступка того человека. После своего возвращения в некоторых людях режима, как правило, преуспевших по-своему, я заметил какое-то томление к чему-то во мне – объект ведь всегда безошибочно это чувствует.

Не побоюсь, с вашего позволения, дать этому томлению грубое имя зависти, а то, к чему оно было направлено, нареку “статусом жертвы” (который, к слову, я сам ни в грош не ставлю, ибо видел множество сверхудручающих примеров заделывания им зияющих дыр от бездарности).

Думаю, всякий знает, что жертва несправедливости по иерархии (к Прекрасному) выше здравствующего чиновника. Другое дело, что раскусить несправедливость

в некоторых её формах и контекстах в состоянии не каждый. А тот замминистра, в силу особых своих задатков, был, видимо, в состоянии.

И всё же не мудрено, что его взбесила моя наглость – явиться с предельно жирной просьбой с моей-то биографией. Вероятно, он увидел в этом вызов и даже давление тем самым “статусом”. Дальше, к своему несчастью, он обнаружил, что подвержен этому давлению и в сердцах предпринял контрдавление пустым рукавом. А тут дело приняло и вправду невиданный оборот – собственная индивидуальность показалась ему самому недостаточной, и он добавил к ней рояль.

Кладу голову на отсечение, что в тот миг тем человеком не двигали ни альтруизм, ни, тем более, синдром кающегося дворянина (верьте очевидцу), а чистая зависть. И ареной того поединка между нами была иерархия по отношению к Прекрасному.

Я в этом уверен, хоть и называю себя порой из-за этого неблагодарной сволочью.

Может, и по отношению к внуку и его маленькому сердечку ошибочно и неблагодарно думать, что он будет воротить от меня нос, если увидит слегшим в постель, т.е. без позолоты, спровоцированной некогда роялем.

Но не о позолоте веду я речь в этом письме, а о золоте своём. Пусть не высшей пробы, пусть и не тянет оно до ценности иных.

Это золото – пора эстетического расцвета моей скромной личности – вторая половина двадцатых и первая половина тридцатых. Именно эту декаду на самом деле я хотел бы реабилитировать для внука. А получилось так, что теоретическая основа или концентрат её, или же программа документирована лишь в моём письме к вам от 1927 года. Месяц ноябрь, кажется. Да, так оно и

есть – конец ноября. Я хочу попросить вас всеми силами своего существа выслать мне именно это письмо или его копию, ибо не мыслю в себе сил и, понятное дело – эмоциональной адекватности той давней полосе, необходимых для полноценного воссоздания его текста (мемуарная халтура тут неуместна). Но прежде мне важно хотя бы вкратце поведать, как же это стряслось, что я систематизировался именно в обращении к вам.

Надеюсь на ваше великодушное снисхождение к почти кощунственному понятию “хирургов эстетический расцвет”, и для точности картины робко сообщу, что “документы” его, этого расцвета, другие, у меня были да сплыли с моим арестом вместе с квартирой и со всем прочим. Речь идёт о нескольких прескромных вещах.

Это: переводы провансальской поэзии – подстроичники достались мне от моей первой *maîtresse*, лучшей подруги *maman*. Кстати, фамилия мамы Лысенко. Вы должны быть знакомы с её переводами музыкальной эссеистики (публиковались, кажется, в “Вестнике Европы”). Помню восторженные отзывы консерваторских грандов о них, а маму трудно было назвать человеком музыкальным. Кстати, помню я и её усмешки на сей счёт. В этих усмешках вся она.

Было у меня ещё три-четыре перевода примечательных статей о рыцарских орденах и одно собственное обозрение о них, вызвавшее определенный интерес к персоне автора, хотя до раскрытия псевдонима дело не дошло (псевдоним был “Карлейль” – мать тогда работала над “Letters and Speeches of Oliver Cromwell” Томаса Карлейля, да и его учение о *герое и героическом* мне было очень симпатично). Это обозрение было единственной вещью из-под моего пера, увидевшей свет. Но свет тусклый, а каким он мог быть вокруг псковской

газетёнки времён гражданской войны.

Кажется, переводил я и лекции Штейнера Рудольфа Антропософовича, но как-то смутно помнится это, видимо, не довёл затею до ума.

Зато помню идеально, ибо долго бился над переводом с латыни, труд теолога-краковца Мернера “Chartiludium Logicae” (1507) о картах, вернее об их использовании в логических фигурах. Но кроме этого перевода я предпринял и собственную попытку осмысления истории, философии и символик разных карточных игр. Но этим дело не закончилось. Далее я организовал свою поэтику карт и в соавторстве с одним молодым художником, редким умницей, исчезнувшим из моего поля зрения в 1928, создал оригинальную колоду, выдающуюся по разработке и исполнению (Фиолетов – фамилия художника, слышали ли вы о нём в эмиграции?). Мы работали фактически подпольно, никого в свой прожект не посвящая. Эта мальчишеская таинственность взбудрила меня, и я и сейчас не откажусь от соблазна описать в двух словах моё авантюрное детище: валетами выступали солнце-отроки, схватившиеся с чудовищем – червовый защищался щитом, пиковый пронзал его в сердце копьём, бубновый выкалывал глаз золотым кончиком древка флага, а трефовый отсекал ему голову мечом. Дамы, вместо традиционных цветков и бус, держали сосуды с главными стихиями, у червовой – повелительницы воздуха, в пальцах были зажаты кончики вздутого ветром платка, королями были Платон, Августин, Данте и Похищенный кем-то у самого себя, а тузы представляли этапы человеческого инициационного становления. И ещё множество хитроумных символических задачек было решено в деталях... Ах, да, совсем позабыл шутов бесславных – лысого и уса-

того!

И оригинал, и единственная копия остались у меня. Последнюю я хранил вплоть до 37-го, а оригинал в 32-м подарил одному грузинскому писателю – великому скелету Божьему, роскошному старцу-пасьянсисту – истый Иов под конец его славного рыцарского пути, по особой причуде прикрывавший свою высокую наготу лишь карточным веерком. Это совершенно очаровательная история в моей жизни, но не стану на ней задерживаться.

Пойдём дальше – это цикл из собственных сорока пяти стихотворений, конечно, эпигонских. Хотя даже эпигонскими я бы их не назвал. Это скорее иллюстрация временного несоответствия, т.е. некой дисхронности авторского языка и духовно-эмоционального развития, когда первый в своей силе уступает второму и тем самым ставит его под большое подозрение. Это каверзный вопрос для всякого чина в рати Прекрасного, да? Но не будем о грустном, хотя придётся – это ещё четыре статьи о Блоке Александре Александровиче. Вот, пожалуй, и всё.

Вы, конечно, вправе задать мне следующий вопрос: зачем мне всё это было нужно, не для того ли, чтобы компенсировать свою профессиональную несостоятельность? Порадую вас – вы имеете дело не с профессиональным неудачником, а скорее с вундеркиндом. Простите за самомнение, но преувеличиваю лишь чуточку. Но была у меня одна особенность или потребность души отчаянная – я не в состоянии был оперировать больного, стоящего хоть ступенькой выше в Иаковой лестнице. Зависимость от Иакового сооружения привила мне мать, этому способствовали, разумеется, и мои природные задатки. Поймите, это было сильнее меня – я должен был превосходить подскальпельный мирок, и меня это не

смущает. Бывало, я даже гадал, смог бы ли оперировать Блока. В некоторых его стихах – да, но в некоторых, да и вообще – что за наглость! Вы понимаете меня?

Так что все вышеперечисленные вещи насуточно были мне нужны в своё время, но нынче и толики сожаления об их утрате не осталось. Другое дело письмо к вам. Но тут я не вправе скрыть (в первую очередь, от себя) одно трагическое сомнение. Мне лучше высказать его здесь и сейчас же отбросить, чтобы не травило меня дальше.

Дело в том, что письмо могло и не дойти до вас. Основание для этого следующее: в 30-м меня вызвали в Кременчуг на консилиум в связи с состоянием здоровья одного заезжего партийного деятеля, грузина. Консилиумом дело не закончилось – мне пришлось удалить несколько дециметров его кишок. Всё прошло на удивление успешно, и он сильно ко мне привязался – ну, обычный синдром спасенного пациента.

Синдром-то был обычным, но выражение не совсем. По его капризу мне пришлось прожить месяц сначала в палате, а потом в соседней с ним комнате. Глаз у него был зоркий, и он прекрасно видел, что я сделался совсем несчастным от брошенных дел в Харькове. Поиграл он вдоволь моим терпением, а потом вдруг объявил, что хочет предложить хорошее место в Тбилиси и как, мол, я на это смотрю. “Да никак”, – сказал я – у меня никого в Тбилиси не было, не было и жилья. Отказ крайне его оскорбил.

Через два дня он показал мне уже официальный запрос из Грузии на моё имя – мол, республика остро нуждается в квалифицированных медицинских кадрах и т.д. Я посмел возмутиться. И тогда он открыто пригрозил мне, напомнив о моей “подрывной переписке от 1927 года с гражданами стран враждебного лагеря”,



пробубнил что-то и об обыске моей харьковской квартиры. Обыск-то ничегошеньки им не дал бы, но я сразу подумал о моём письме к вам и первое, что я ощутил, было восторгом от частицы “пере” (переписка). Ура! Значит, я удостоился ответа – не скрою, его отсутствие изрядно меня мучило.

После восторга был панический страх, который быстро меня отрезвил – ваш ответ вовсе не был обязателен, чтобы единственному моему письму пришли ярлык многолетней переписки. Серьёзно, я не мог думать ни о чем другом, кроме как о том письме, по простой причине – никому больше в зарубежье я не писал в 27-м (вообще с 22-го), не считая немецких медицинских журналов и, пожалуй, ещё двух писем в Краков своим кузинам. Но о подрывном элементе в них не могло быть и речи – дело касалось нравственного проступка девиц, в общем, нашей семейной драмы.

Вкратце об этом. До 26-го мы с родителями жили в Петербурге, там я и родился. У меньшевика отца давно уже начались большие неприятности – он перескакивал с одной случайной работы на другую, а к тому времени фактически уже скрывался. И тут-то мама подняла вопрос о переезде всей семьей в Харьков (сама она была родом оттуда), сильно уповая на мифических родственников и такое же изобилие молочных продуктов. Делать было нечего – мне ведь тоже приходилось не сладко. В общем, решились, и мы с отцом поехали на разведку. Как ни странно, он сразу же устроился преподавателем на экономическом факультете университета. Я уже обладал учёной степенью и другими регалиями – через месяц взяли и меня. Жизнь начинала входить в терпимую колею. И вдруг мамино лаконичное сообщение о командировке, вернее, о приглашении её в

краковский университет с целью избрания почётным доктором кафедры английской литературы и что она не может отказать себе в счастье повидать свою сестру, проживающую там же, в Кракове, мол, это последний шанс, никто не знает, что будет дальше, а потому она уже в пути.

Как будто писала не мама, а какая-то чужая тётя – не знаю, тогда у всех крыша поехала. С того самого дня отец начал методично искать смерти. И нашёл-таки вскоре. А что мама? Уехала практически здоровая, а через полтора месяца её не стало. Главное, что свидетельство о её кончине прислала нам администрация какого-то краковского лазарета, а родство как в рот воды набрало. И вот в августе 27-го я написал два возмущённых письма с требованием сообщить об обстоятельствах смерти матери. Я не верю, что мне ответили, а если б даже соизволили, то в их арестованных посланиях ничего подрывного для красного государства не было бы.

Так что, как ни крути, остаётся то письмо, если, конечно, мой благодарный пациент не блефовал. Мне, разумеется, выгоднее думать, что он блефовал, и так я и делаю. А тогда никак рисковать не мог и принял его насильственное предложение, о чём теперь, ясно, не жалею. Есть ещё одно неудобное обстоятельство. Дело в том, что своего письма я собственноручно в почтовый ящик не бросал, даже вашего адреса не надписывал – его мне попросту не дали в целях моей безопасности и даже вашей. Дама, которая взялась его вам переслать, должна была сама это сделать. Она обещала, что письмо опустят в Париже и клялась, что так и было...

Не знаю, ничего не знаю...

Презираю сомнения, эти коротконожки обезьянки. Тошнит от их жеманства, пальцы стали ватные, карандаш

еле удерживают...

Конечно, я стар! Не только стар, но и обижен. Кем? Чем? – вопросы творительного падежа. Злобиками несовершенства человеческого...

Недавно – сегодня 14 июня – я сидел у окна – ждал дочь. Всегда смотрю, как она выходит из автомобиля и направляется к подъезду – это моё любимое кино. А тут жена заходит, советует сменить рубашку, в руках у неё свежая, глаженная... Её замечание справедливо – впопыхах начинаю переодеваться, но в этих хлопотах прозёвываю кино – ибо дочь уже вошла... Я рассердился и швырнул свежую рубашку на пол, Русудан устроила сцену... Дочь почти грубо её прервала: “Тебя беспокоит папин запах, но это же его последняя молодость? “Шикарно, да? Нечто подобное встречал я у Платонова – отсутствие запаха, как печать безнадёжной старости...

Первое дыхание моего письма, нового, иссякло...

Лай. Кошмарно множественный, как возвещающий нечто. Если она ещё не спит, то думает, что я колдую над очередным некрологом на грузинском... Может, и так, но на русском... Э-эх, был бы я фамильярным, попросил бы вместе с письмом выслать мне всё значительное о парижских кладбищах... Но человек я на редкость щепетильный. Невозможность слёз какая-то паршивая...

Всё перемешалось... Ноги отекли, уши замёрзли... Люблю всех, или выборочно... Нет всех; но сейчас не чувствую...

Так нельзя... Если я буду гнаться за всякой мелюзгой эмоциональной, алчно, как озабоченный юнец, то погибнет моё предприятие в честь внука...

Всё – продолжу завтра.

Пациент блефовал...


Прошло более двух недель. Нужно продолжить, но

трудно. А знаете, за эти две недели я успел отличиться! Зять повёз меня в горы, к дочери и внуку. А там у них праздник лесного пантеона – так я понял. Человек пятнадцать детворы за столом. Меня сразу же с ними посадили, чтобы не дулся потом. И только пригубил стакан, вино потекло из моих ноздрей – глотка наотрез отказалась его принять... Leo гордо взял меня за руку и отвёл в сторону. А потом плакал и бил себя по голове. Я делаю всё не так. Как влюблённый по уши. В жизнь, что ли? А где ж найти пассию получше? Мне надо торопиться. Но, кажется, утопия с адресом! Обещавший уже прибыл из Парижа – мелькал по телевизору, но к нам не пожаловал, т.е. к Максу – славному соседу моему – это он меня свёл с ним. Макс один из крупнейших наших художников – но лет десять, как он остыл к искусству как благороднейшей суете. Такая хандра в принципе хрестоматийна, но в среде музыкантов встречается, наверное, реже из-за специфики самого феномена музыки, да? Как-то не задумывался над этим раньше...

Мда-а, в 60-е тот же функционершк от культуры постарался бы угодить даже дворняжке Макса, не то что его соседу, но теперь его (Макса, конечно) высокую бледность принято нивелировать окончательным его упадком.

Но, представьте себе, мог и не угодить. Я всё о том же. Ведь отношения с иностранцем! Иностранец вообще – это нечто вожделённое нынче у нас. Кто же поможет тиражированию своей роскоши, Бог ведь как заработанной? Да ещё я проболтался о вашем масштабе. Кем я тому человеку в конце-то концов прихожусь, чтоб рисковать ради меня? Моя просьба несоразмерна с нашим *modus vivendi*, т.е. попросту бестактна.

Вот зять мой, отец Leo, обязательно разрешил бы мне



эту проблему, но скоро уже двенадцать лет моему обесу
– ни о чём(!) в жизни его не просить, чем казнию парня
сознательно, и он отлично это понимает.

А та дама, дорогой Пётр Петрович, что положила
начало традиции сокрытия вашего адреса от меня, не
кто иная, как Базельская Алла Марковна. Вот видите?
Ах, да, может и матушке вашей она обо мне в ту пору
написала? Прошу прощения, это уж слишком. Знаем-с,
такого рода предположения тяжко караются. Полно, не
будем.

Отсылая нас в Харьков, мама дала мне её киевский
адрес: мол, если что, будешь в Киеве, должен (скорее,
можешь) к ней зайти. Откуда бедняжке тогда было знать,
что её с отцом уход из жизни и станет тем “если что”.
Не будь я подавлен несчастьем до предела и ниже, я бы
на визит вежливости тогда никак не решился (ведь
ничего к этому не располагало). Плюс выпала мне оказия
по приглашению комиссариата Гособороны читать в том
же Киеве лекции на трёхмесячных курсах военно-
полевой хирургии.

– Кельт-ибер! – августейше прошипела она, заведя
меня на пороге и смерив взглядом.

Что ж, приват-доцент Базельская моментами мнила
себя Базельским профессором.

– Не совсем точно, но лестно! – спустил с цепей я
свой бархат.

– Лестно для кельт-иберов, голубчик! – произнесла
она тихо, совершенно невероятной манерой исказив
музыку родной речи. Симпатичной довольно.

Я хотел было и дальше подразнить её професси-
ональное – специалиста кельтских языков – самолюбие,
назвав эту странную интонацию ареморийским или
корнвалийским прононсом, но передумал.

Старость в постепенности своей есть развязывание привязанности, помню я такое у Розанова, – вот на лбу у неё словно светилось: я своё отлюбила, открутила..., так что, брысь! Мина, замечу, была очень даже кстати – я и вправду в тот вечер уповал на привязанность с её стороны. Даже не знаю, стыдиться мне этого или нет, уж больно одиноким себя ощущал. Настолько, что не сдержался:

– Я к вам... не с тетрадьёю толстою пришёл, – намекая на чеховскую драму, – а с настоящей бедой – умерла моя мать.

– Настя! Любительница выпендриваться.

Вот и весь её комментарий. И, пожалуй, ещё залпом выпитые сто грамм медицинского спирта, принесённого мной.

А сын её Святослав, гобоист, с виду типичный соловьёвский эпигончик (имя обязывало), уставился на другой мой гостинец – свежую буханку ржаного хлеба.

Дабы скрыть неловкость, Базельская показала себя развеселившейся внезапной аллюзией.

– Святослав, расскажи-ка про буханку Стравинского.

– Сама расскажи, – отрезал тот и, грустными глазами (а какими они могли быть у соловьёвца на заре пролетарского светопредставления?) уставившись в мои, тут же выплеснул весь драматизм отношений с матерью – пусть я не думаю, что он неучтив, но если начнёт рассказывать, она сразу вмешается и перескажет всё на свой лад – всегда так... Она, говорит, у меня, как тот нидерландский богослов-католик, автор плана объединения католической и протестантской церковей на равных, видите ли. Мать бывает также справедлива и щедра ко мне, как тот католик к будущему протестантизму. Вот только имя его запомнил...



– Не Кассандер ли Георг? – спросил я, ошарашив его.

Базельская залилась краской и начала вдруг рассказывать историю, кокетливо намекнув, что гордится тем, что вычислила одного ее персонажа, даже двух скрывающихся инкогнито.

Итак: в 1914-м Стравинский приехал из Швейцарии в Киев за собраниями фольклорных текстов. Приобрёл массу книг и был доволен. В его свите находился молодой филолог-магистр, который настоял, чтобы композитор посетил какую-то уникальную семью из духовборцев или каких-то других *духовных* христиан, хранительницу ритуальных песнопений невиданной силы и красоты, с которыми сам столкнулся в поисках родных фольклорных эквивалентов древнегреческим меликам. Записывать свои сокровища семья не даёт – не позволяет их сакральная этика, но против разового прослушивания не возражает. Магистр уверял, что и этот единственный раз гостю славно послужит.

Стравинский был тогда молод, уговорили. Съездили – хутор недалеко находился.

Перед хатой встречает их свято улыбающаяся девка-исполинка неопишущей красоты с праздничной буханкой в руках в окружении несколько скромной родни. А на буханке в качестве узора выведено до двадцати тактов из опуса Стравинского. Гость в восторге. Заходят, садятся.

Вдруг Стравинский хватился своего бархатного берета. Не найдя, обиделся и сорвал прослушивание.

А через год или два, уже в Женеве, после пасхального концерта Стравинскому в артистическую принесли потерянный берет, наполненный пасхальными яйцами, украшенными теми же тактами, что и буханка.

– Тут я прервусь, – с грустью сказала Базельская, пока Стравинского не стошнило.

Пошло, что пошло – хотел было я поддакнуть ей каламбуром Мережковского, но воздержался.

– А вы не смейтесь, молодой человек, эти лубочки с беретом и буханкой не только пошлы, но и глубоко трагичны. Хотя пошлость, как и всякий изъян, всегда трагична.

И она сухо поведала мне о княжне Игнатъевой (“кстати бывшей подруге вашей краковской тётки”), неудачливой сочинительнице духовной музыки, которая умудрилась прижить дочь от некоего Книповича – коммерсанта, отца двенадцати детей. Всё, что она у него впоследствии выудила, вложила в балетное воспитание своей Мары.

А девочка росла как на дрожжах в ущерб материнским амбициям. Пришлось ей покинуть училище и думать о сольных эстрадных номерах.

Так, в 1913-м Игнатъева умоляла Базельскую свести её с Борей Прониным, чтоб тот позволил тринадцатилетней Маре выступить в “Бродячей собаке” с композицией “Часы уныния богемы” – хореография и музыкальное сопровождение Игнатъевой. Пронин заинтересовался. Но перед самым выступлением девочка рухнула наземь на глазах у всей публики – мать дала ей кокаину.

Да, и главное, Базельская хорошо помнила, как Игнатъева в ту пору истерически поносила академические музыкальные круги и мстила им возрастающей славой Игоря Стравинского в Европе.

Мы выпили за непутёвых мать и дочь, где бы они ни были.

Потом за трагизм пошлости;

Потом за жертв пошлости;

Потом за бронь от пошлости;

Святик не отставал от нас.

И она приоткрылась:

– Бедняжка Игнатьева посмела потревожить гения своими изъяснами, и мы за это её осудили. А вот мой сын вредит ему серьёзнее, утверждая, что он вышел из Евразийства.

Святослав побагровел, потом махнул на неё рукой:

– Как вам угодно, уважаемый Кассандер!

Ещё чуть-чуть, Пётр Петрович, и я впервые услышу про вас. Нет, о существовании Евразийского движения или ордена я знал, но, к сожалению, в сознании оно ассоциировалось с другими фамилиями. Слышал и о парижских “Верстах”, не зная о вашем редакторстве; даже дружил с людьми, которые мыслили в евразийском духе. Но последний, признаюсь, мне мил не был. Это не укор – всякий выживает, как может. Просто лично я никак не смог бы выжить, опираясь на славяноскифский мессианизм или туранский – так его, кажется, называли. Даже вам в Европе он не послужил бы долго для столь солидной цели. Но полно, я человек мягкий. И Базельской тогда я ответил мягко:

– Во-первых, Алла Марковна, я не верю, что Святослав может иметь вредоносные суждения, во-вторых, хоть и профан я в музыке и не знаю, что у Стравинского там в его творениях, но из ваших слов делаю вывод: евразийство – идеология, и вы считаете, что гению постыдно, точнее, невозможно выйти из идеологии, быть подвластным ей, ведь так? А почему, собственно, вы решили, что он *под* властью? Гении всеядны! Тем более, евразийство было бы лакомым кусочком для молодого творца. Ведь первым делом, осознав себя выдающимся, человек отдаётся грёзам о ренессансе и мессианстве, это

норма, и чем яростнее он этим переболеет, тем лучше для вкуса. Но переболеть должен.

– Читали ли вы “Два Ренессанса” Сувчинского, – бросила она мне с элементом раздражения.

– Нет, – отрезал я и выпил за выживание, прощая всем индивидуальные методы, но пожелав быть всё ж поаккуратнее и ответственнее в их выборе.

Но ой, ой, ой! – тост этот сделал мне самому же больно. И я завёлся о Блоке. Стал жонглировать его цитатами. Она подыграла мне со слезливым восторгом, чем способствовала тому, что я с треском сорвался:

– Задумайтесь, дражайшая, да он ваших слёз не стоит. Он опасен, посеял тотальную тревогу, долго ещё чуткие к поэзии сердца будут пожинать неладное... Он неудачник среди гениев. А неудачники – мастера заморозить, да ещё как! Жалят себя, нас, всех и тянут вниз, оставляя малодушные щели для синевы... Неудачник должен оставаться дома, а не лезть мне в душу...

– Может Вам самому стоило остаться дома! – Базельская ударила ладонями об стол и поднялась. С трудом.

Я тоже, шатаясь, поплелся к двери, подняв руку на прощание “усопшему” Святику.

– Да постойте же! – брезгливо задержала она меня, роясь впопыхах в шкафу.

– Натё, – сунула мне бумаги в руку. – Найдёте родственную душу. Но с возвратом – перепечатывала я для себя.

Наконец-то! Это была статья Петра Петровича Сувчинского – “Типы творчества. Памяти Блока” (1921), т.е. её писали вы почти в том же возрасте, что и мне было тогда.

О да, Базельская оказалась права – родственную душу

я нашёл. Тут придётся кое-что пояснить.

Блок не просто поэт для меня. Ясно, он для всех не просто поэт. Но он и не просто великий поэт для меня. А мой рок, без всяких преувеличений, буквально, можно сказать. Держа ваш блестящий труд, я это уже знал. Но не мог знать, насколько он еще преуспеет в будущем в своей власти над моей судьбой.

А всё началось с деда, который ловеласничал, кажется, со всеми тремя тётками Блока. Андрей Николаевич Бекетов* много значил в его жизни, в частности в его становлении как ученого. Кстати, и имя мне дали в его честь, но в крёстные позвать всё же постеснялись.

В общем, не было у нас в семье реликвии ценнее этой дружбы. Мать была крепким орешком, не из тех, кто слепо наследует что-либо, тем более личные фаворы. Тёток она сразу отбросила, но в память о любимом отце внимательно вслушалась в Блока. И погорела – показав высочайший класс верности.

Единственно поэт и есть Человек! – вот первая заповедь её мировоззрения, которой она не стеснялась следовать всю жизнь. Ничего хорошего из этого для нас с отцом не вытекало, да и для неё тоже. Но мама о себе позаботилась, придумала отдушину – они с Блоком были рождены в один и тот же год, день, час, и она считала его своей божественной ипостасью.

А что же мы? Папа изводил себя ревностью, думаю, любовника простил бы ей легче. А я мечтал стать Блоком!

Но не стал им. А лет этак с семнадцати, когда дороже и важнее отца для меня уже никого не было, закралась

*Бекетов Андрей Николаевич (1825 – 1902) – дед А. А. Блока по материнской линии, ректор Петербургского университета.

мне в голову идея депьедестализации Блока.

Какова задачка! Тем более, что в силу своего воспитания, я совершенно не был склонен к карикатуре, нигилизму и цинизму. Значит, должен был действовать благородно и серьёзно. А силёнки-то были малые. И вскоре я позабыл о наглой идейке, ударившись в медицину. И не пришло бы на ум обращаться к ней, если б не исчезновение матери и последний месяц жизни отца (Боже, на что я насмотрелся!), а потом её нелепая смерть. И я не на шутку стал задумываться о протагонизме Блока в нашей судьбе и вообще о нём.

Отказать ему в гениальности я не мог. Но в природе его великого дарования я разглядел, точнее, предположил один серьёзный дефект, ставивший его в ряд заблудших гениев в моём пантеоне таких, дефект, слишком родственный натуре моей матери.

Естественно, имелся у меня и пантеон правильных гениев с собственным критерием их отбора. Мне было чрезвычайно важно, что критерий этот выстрадан мною, пусть и не блещет оригинальностью в законченном своём виде. Гений есть дважды рождённый – вот его основное положение, не ново, да?

Кстати, сам Блок об этом хорошо сказал: “Эта формула была бы банальной, если бы не была священной”. Видите, как она ему дорога! “Её- то понять труднее всего”, – говорит он далее, т.е. претендует на истинное понимание её. Но претендовать это ещё не всё.

С вашего позволения, вернусь к моему прочтению священной формулы и его тонкостям.

Насколько чиста смерть, предшествовавшая второму рождению – вот что имело решающее значение для меня. Насколько она рафинирована от осадков жизни. Эта самая жизнь дала Блоку роскошный шанс сделать её

червонной. Воспользовался ли он им (своей жестокой драмой) как следует, хватило ли у него дара любви к другим для этого? Вот тут-то я и засомневался в нём — тогда его не пугали бы маленькие смерти — разлуки, ссоры, измены, он не был бы “заложником чувственной стихии, вечно жаждущей и страждущей” — это уже ваше.

Ещё могу припомнить “...Блок накалялся до чувственного ясновидения, оставаясь всегда в тумане чувственного оцепенения... Чувственность — огонь, но такой огонь, который не станет светом”. Вот в этом основном пункте и сошлись мы тогда с вами против него.

Хотя для *лирика* та строгая смерть, кажется, и не обязательна. Но тогда автоматически встаёт старый вопрос: может ли вообще лирик быть гением. Да ладно, оставим — не по возрасту мне сейчас эта казуистика.

Важно другое — хочу ещё раз вас поблагодарить за то, что поддержали меня своим словом тогда, а блеск ваш спровоцировал страшный подъем или всплеск моих сил. Потому то письмо стало гимном спасению моему, да и вообще спасению.

Но всё ж без цинизма я не обошёлся. В конце письма, лишний раз смакуя наше взаимопонимание, я позволил себе шутку (оказавшуюся вещью впоследствии) : дескать, влияние Блока после его смерти продолжается, но на самую незащищённую ныне часть населения — усугубляя её тревожное, безысходно униженное положение культом безответственного, а то и бесстыдного оголения нервов, болезненного самокопания не в тех недрах, где бы следовало и пр. С целью психической реабилитации этого нежнейшего слоя социума, надо бы серьёзно задуматься об организации обществ толкования блоковского наследия...

Цинизм в основном состоял в том, что эту идею подкинул мне сам Блок, вернее, отчаянный крик его

души: “Не делайте из наших исканий моды, из нашей души балаганных кукол, которых таскают на потеху публике по улицам, литературным вечерам“...

Именно этим я и занялся немного позже в Тбилиси, хотя Грузия не очень-то тяготилась его влиянием – там правил балом Галактион. Но “публичку“ я всё же нашёл. А красивее всего во всей этой истории – месь Блока бедолаге-профану – именно из-за нелегального общества, занимающегося популяризацией его творчества, основанного мной в 33-м, и арестовали меня в 37-м.

А сейчас, помилуйте, должен отставить перо – это беспризорница ворваться норовит.

Обещаю встречу впереди!

Перевод с грузинского автора

Но если кто ж нам в
Кушерами трепца,
Я облагошу в кости
Заезжего хильца,
Пусть это слышком редко
Судьбой предсрешено –
Я снова за руплетом
В уютном казино,
И если вдруг
Мне взглядом подмигнет,
То нет в страде
Три ночи напролет,
Я соберу у бара
Великих хвастунов,
И заблещит гитара,
Забулькает вино,
Кто тонкая, я кто
Идеальна, да их

Леван ЧЕЛИДЗЕ

АНЧУРИЯ...

О. Генри

Анчурия, Анчурия,
Последний мой привал.
По свету век кочуя,
На чердаках ночуя,
Я это вмиг почувял,
Едва сюда попал.
Здесь население босо,
Здесь тропики и зной...
Бананом и кокосом
Вас угостят матросы,
А если папирсой,
То угостит любой.
И веерные пальмы
Раскинули шатры...
Здесь ангелы опальные,
Герои оскандаленные
И все сентиментальные
От скуки и жары.
На пяточке до полночи
Играют скрипачи.

Здесь президенты-сволочи,
Министры и все прочие
Лишь головы морочат,
Сплошные трепачи.
А я лежу на пляже
В шезлонге под зонтом.
Мне солнце греет ляжки,
А сердце греет ром.
Лежу, курю, мечтаю,
Активность мне претит...
Спросите попугая,
Что на плече сидит.
Но если кто к нам в гости,
Купюрами треща,
Я облапошу в кости
Заезжего хлыща.
Пусть это слишком редко
Судьбой предрешено —
Я снова за рулеткой
В уютном казино.
И если вдруг удача
Мне глазом подмигнет,
То нет в стране богаче
Три ночи напролет.
Я соберу у бара
Великих хвастунов.
И забренчит гитара,
Забулькает вино.
Кто тонкий, а кто толстый,
Плевать на их грехи.

Мне главное, чтоб тосты
Звучали, как стихи.
Люблю я до печеночки
Ночную кутерьму.
О смуглые девчоночки,
О задницы-бочоночки,
За вас еще котеночком
Изведал я тюрьму.
Расхлябанной чечеточкой
Пройдусь я кое-как...
И первую красоточку
Уволоку в гамак.
А утром снова нищий
Завистникам назло
Я не вздохну о тысяче,
Что ветром унесло.
И пусть Святая Троица
Вершит свой скучный Суд,
Когда меня околицей
На кладбище снесут.
Хочу ли, не хочу ли я
Меня не тронет грусть.
Я буду жить в Анчурии,
Зачуханной Анчурии,
Покуда не загнусь.

ГАЛОЧКА-БАБОЧКА

Галочка, Галочка,
Легкая, как бабочка.

Нет у Гали мамочки,
Нет у Гали папочки,
Нет у Гали пастора,
Перед кем раскрыться бы,
Нет у Гали паспорта
С меткою милиции.
Дома нет и не было,
Мужа – не бывало...
Может быть, ты с неба
Звездочкой упала?
И взлохматив челочку,
Вышла на прогулочку,
Стройная, как елочка,
Что смешного, дурочка?
Туалет вокзальный,
Где стираешь платья?
Глупые воззвания –
Дескать “Демократия”?
Или спецприемники?
Может быть, колонии?
Глупые любовники?
Жирные поклонники?
Легкая и нежная,
Нежная и легкая,
Не кивай небрежно так
Каждому головкою.
И придет негаданно
Принц с глазами синими,
И похитит ладную,
Глупую, красивую.

Коль у принца маменька,
Папенька и дедушка,
Все полюбят маленькую
Ветреную девочку.
И прислуга ушлая
По углам зашепчется:
Сколько благодушия
В этой юной грешнице.
И исчезнет Галочка,
Легкая, как бабочка,
И исчезнет девочка,
Шустрая, как белочка.
Опустеют улицы,
Скверы станут серыми
С лозунгами куцыми
И милиционерами.
Дни к концу покатятся
Суматошно-кучно.
Без смешной проказницы
Станет очень скучно нам.

СОБАКА В СПУТНИКЕ

Вокруг земли в кромешном мраке
Несется спутник... Тишь немая...
А в спутнике сидит собака
И ничего не понимает.
Мы покорили стратосферу,

И солнце вскоре покорим мы...
И то, что было только верой
Сегодня подлинно и зримо.
А в спутнике сидит собака
И на луну истошно лает...
То начинает выть и плакать,
То весело хвостом виляет.
То в невесомости качается,
И мертвой тишине внимая,
Хотя и чует – жизнь кончается,
Но ничего не понимает.
Сограждане, слепые путники,
Не мучайте себя вопросами.
Мы сами, как собака в спутнике,
Несемся в океане космоса.
Навстречу смерти неизбежной
В водовороте мирозданья
Через смятенья и надежды,
Сквозь хохот вечного страдания.
Грядущее, над миром рея,
Звенит губительной сиреной.
Но кто на свете соизмерил
Себя и вечную вселенную?
И только раз, взойдя на плаху,
Объемлешь мир. А он в горошенку.
А в спутнике сидит собака,
Не понимая ничегошеньки.

ДРУГУ ЧИМКЕ

Твои сроки не отбивали мы,
Ты их сам за других отсиживал.
Твоих девушек отбивали мы,
Будь то черные или рыжие.
И поили тебя сивухой,
И разбавленным спиртом тоже.
Чтобы дал ты вахтеру в ухо,
Чтобы плюнул буфетчику в рожу.
Мы тебя, что ни день, дурачили.
О тебе, бедолаге, судачили,
Непутевом и неудачливом,
Обреченном на жизнь собачью.
Но в часы, когда жизнь даст трещину
И несешься в неё, как в пропасть,
Когда нас предавали женщины,
Когда братья чинили подлость,
И оплеванному, затырканному
Уже некуда в мире деться,
Мы к тебе приползали с бутылкою,
Как к обломку святого детства.
Ведь стихи твои, как воззвания,
И в закусочных речи крамольные —
Это все наша юность вокзальная,
Путь-дороженьки наши окольные.
А доверчивая улыбка
И штаны, что в коленях дыбятся —
Это всё наша молодость прыткая,
Но с расчетом, чтоб выжить и выбиться.

А ты умер.
С последним вздохом
Твоя жизнь превратилась в дым.
И собрались вокруг прохожи.
И завыли над трупом твоим.

* * *

На диване – раздеванье,
На диване – надеванье:..
Стоны, вздохи, завыванья
На продавленном диване.
А на тумбочке две рюмки,
Дотянулись лишь бы руки...
Умереть бы мне от скуки,
Не свершив судьбы призванья.
В комнатушке очень тесно,
Тело женское, как тесто...
Где вы, дни очарованья?
Где ты, солнечное детство?
Все ушло. Осталась только
Дней нелепых перестройка.
И на скошенном диване
Раздеванье, надеванье.

Слова, слова, слова...
Их писк, их рык, их рев...
Распухла голова
От всех знакомых слов.
Молитва ли, доклад,
Иль злобное нытье...
Слова оттарактят
И канут в небытье.
Лишь нежности настой
Косых китайских глаз
Останется со мной
В предсмертный горький час.

НАС УЖЕ НЕТ...

Блеклое утро... Тихий рассвет...
Как это странно – нас уже нет.
Все, как и раньше, все, как и прежде,
Те же иллюзии, те же надежды...
Те же трамваи и магазины,
Те же армяне, те же грузины,
Те же словечки, те же манеры,
На перекрестках – милиционеры,
Влажный бульвар okayмил парает...
Как это грустно, что нас уже нет.
Кто-то другой – на арене цирка
Из-за перчаток глазами зыркает,

Глаза кошачьи, ноги-пружины,
Наскоки лихие и петушиные,
Завтра ему восемнадцать лет...
Непостижимо – нас уже нет.
Кто-то другой этой ветреной ночью
Пробрался в скорый “Тбилиси-Сочи”.
Нету билета, денег тем более,
Мысли шальные, как ветер в поле.
А проводница, а проводница...
О как бы с ней навсегда породниться...
Глазки косые, кожа желтая,
А прикоснешься и словно шелковая...
К черту подушка, простынь не надо,
Мне посидеть бы с тобою рядом...
То ли япошка, то ли казашка,
Дуем мы чай из малиновых чашек...
Только не я, а кто-то другой
Гладит ей руку шершавой рукой,
Лаской, как солнцем осенним согрет...
Ужас какой-то – нас уже нет.
Где же ты, где же колес перестук
И теплота ее маленьких рук,
Месяц меж туч, золотистый и тонкий,
Что мчится с поездом на перегонки...
Тонкая шея, синий берет...
Это ужасно, что нас уже нет.
Дождь по брезенту весь день барабанит...
Вымер базар, разбежались цыгане.
Только на лавке под мокрым навесом
Старый бродяга и юный повеса.



Ходит бутылка с карбидной водкой
В руку из рук, в глотку из глотки.
Он сифилитик – слепой и безносый,
Повеса замучил его вопросами,
И о культуре, и об искусстве,
И об Иуде, и об Иисусе...
Жму ему руку и чувствую вдруг –
Он мой последний единственный друг.
Где на земле отыскать его след?
Все очень просто – нас уже нет.
Все, как и раньше, все, как и прежде,
Те же иллюзии, те же надежды,
Жирные тучи, грязное небо
И непонятно – ты был или не был...
Кто мне откроет вечный секрет –
Чьи это слезы, раз нас уже нет?

Сергей ОКРОПИРИДЗЕ

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ, ФАНТАЗИИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ

КУСТ

В невиданный зной, когда за лето с неба не упало ни капли влаги, и все кругом пожухло и высохло, когда даже небольшие деревца сбросили с себя почти всю листву, а иные в панике — всю до последнего листочка, лишь два-три больших куста оставались свежими, бодрыми, словно только что расцвели. Их листья, точно покрытые лаком, блестели на солнце, как это бывает ранней, благодатной весной.

Я подошел к одному из них. Он чуть колыхнулся на знойном ветру, обнажив большой пенёк под собою, оставшийся от спиленного тополя. И я представил себе всю мощь старой корневой системы, работавшей ныне на молодые побеги...

ДРУЗЬЯ

Жеребенок, ему нет и месяца от роду, по пятам следует за матерью, пытаясь подражать ей во всем: щиплет траву, вкус которой ему еще не понятен, ржет, фыркает, машет хвостом, отгоняя мух и комаров. Вот он резко остановился на полном скаку и тут же пустился вскачь, не выпуская из виду матери — ведь он то и дело прикладывается к ее вымени.

На поляне появляется мальчик, он подходит к жере-



Электронная библиотека

бенку, нежно проводит рукой по его голове, грудке и холке. Это не похоже на ласку матери, и жеребенок замирает от неожиданности. На прощание мальчик обнимает жеребенка за шею и уходит. Он несколько раз оглядывается и машет рукой своему новому другу. Жеребенок долго смотрит вслед удаляющемуся мальчику. И представляется ему, как он и мальчик, уже взрослые, мчатся по широкому полю, слившись в одно целое, мчатся все быстрее и быстрее. Еще миг, и они оторвутся от земли, воспарят над ней. Душа упоена счастьем...

Но вот мальчик исчез из поля зрения, жеребенок потрянул головой, и видение пропало. Он подбежал к матери, и, потершись об нее мордочкой, припал к ее живительному источнику...

БЕСЕДА

Мы беседовали с товарищем: он — сидя на дереве, а я — стоя на земле. Наш разговор складывался таким образом, что продолжить его нам можно было либо внизу, либо наверху. По правде говоря, меня с самого начала так и подмывало взобраться на дерево. Оно стояло перед нами и, казалось, звало нас к себе. Однако товарищ опередил меня и белкой взлетел чуть ли не на самую макушку. Поддерживать с ним беседу становилось все труднее, так как приходилось постоянно задирать голову. Да и товарищ все хуже слышал меня, то и дело переспрашивая из-за хрипоты, появившейся у меня в голосе. И мне пришлось подняться к нему...



ПОЕЗД

После счастливо проведенного отпуска я возвращался домой. Ночью на небольшой железнодорожной станции наш поезд остановился, и несколько пассажиров вышли на перрон поразмяться. Я последовал их примеру. Вдруг мы услышали пронзительный гудок приближающегося встречного скорого поезда. Оглушительно грохоча, он ворвался на станцию. Освещенные окна замелькали перед нами – вагоны проносились на довольно большой скорости, и лица пассажиров невозможно было разглядеть. Иные из них что-то кричали нам, но толстые стекла закрытых окон глушили их голоса. Тем не менее, я откликался на каждое их приветствие. Последние три вагона были ярко озарены. Это обстоятельство и чей-то голос, в отчаянии, как мне показалось, звавший меня, толкнули меня на неожиданное безрассудство. И я бросился к поезду, схватился за поручни и вскочил на нижнюю ступеньку последнего вагона...

СОКОЛ

Он появился надо мной, когда я понуро брел через поле. Домашние заботы и проблемы так одолели меня, что я едва ли обратил бы на него внимание, если бы не шелест его крыльев и свежий ветерок, которым они обдали меня, – так низко он летел надо мной. Я вздрогнул и поднял голову. Затем, не позволяя мне опустить головы, он несколько раз прокружил над ней, словно звал меня. Убедившись, что я заметил его, сокол взвился под облака и исчез из виду.

Придя домой, я почувствовал, что с трудом умещаюсь



в своей квартире. Заботам и проблемам долго не удавалось согнуть меня...

МОРЕ

Я — в центральной диспетчерской большого морского порта. Главный диспетчер, друг моего детства, ведет переговоры с капитаном океанского лайнера, который вот-вот отчалит от пристани. Ситуация в порту настолько сложная, что, не будь диспетчера, каждому судну неминуемо грозило бы столкновение. Диспетчер дает капитану корабля конкретные указания и советы, и вот через широкие окна мы видим, наконец, как корабль снялся с якоря. Сначала сильное морское течение отнесло его к судам, стоявшим справа от нас, затем — к тем, что находились слева, и на какой-то миг нам показалось, что столкновение неизбежно. Но в следующее же мгновение заработали все запасные двигатели, и лайнер, сманеврировав с поразительной для его размеров скоростью, горделиво вышел в открытое море...

ГАЗЕТА

Я сижу в своем рабочем кабинете и не могу оторваться от бумаг. Вдруг слышу стук в дверь. Поднимаю глаза и вижу старого знакомого, который когда-то хаживал к нам в учреждение. Вместо приветствия он, как бы продолжая давно прерванный разговор, сказал, что был, дескать, там-то и там-то, как я ему советовал, но не нашел человека, оформлявшего подписку на газеты. Он уточнил и записал его адрес в блокнот, не надеясь на свою уже слабеющую память. Шамкая беззубым ртом, мой знакомец с восторгом говорил о назначении, чуть ли не

о миссии человека, оформлявшего людям подписку на газеты, говорил о самих газетах, как о незаменимом средстве коротать время, которое, возможно, у тебя еще в избытке, но, увы, уже ни к чему...

САДОВНИК

Я случайно забрел в чей-то сад. Вижу раскидистую яблоню, увешанную красивыми плодами. А под ней – паданцы. Яблоко от яблони... Нагибаюсь и беру одно из них – оно вкусное, сладкое, необычайно ароматное. Я набиваю карманы и, зажав еще по одному яблоку в каждой руке, направляюсь к выходу. И тут замечаю – из глубины сада в мою сторону идет человек, по-видимому, садовник. По мере его приближения убеждаюсь – это хозяин сада – так по-отечески заботливо относился он к каждому дереву, подолгу задерживаясь возле каждого и, как мне показалось, особенно долго – у старых яблонь. При этом взор его как бы проникал сквозь деревья, устремляясь вдаль. Он вплотную подошел ко мне, так и не заметив меня. Я шагнул в сторону лишь для того, чтобы не столкнуться с ним, не напугать его. Мне же незачем было его бояться – я это понял сразу, как только увидел его лицо.

Я понес домочадцам столь легко доставшуюся мне добычу и в этот день впервые подумал о смене профессии...

УПРЯМСТВО

Наш ослик вдруг заупрямился – его невозможно было принудить сдвинуться с места. Ни слово, ни плеть, ни пряник – ничто не действовало. Тогда мы с женой взяли



его за копытца и по моей команде стали передвигать их. Жена — передние, я — задние. Работали до седьмого пота. Наконец, наша животина расслабилась и пошла своим ходом. Некоторое время ослик оглядывался на нас и тихо ржал, то ли прощаясь, то ли благодаря нас. Затем затрусил, оставив нас вскорости далеко позади...

ЦЕЛОЕ И ЕГО ЧАСТИ

Отколовшиеся от Целого части, оправдывая свое отщепенство, прибегают к всевозможным ухищрениям. Вот лишь некоторые из них:

Первое:

— Мне незачем волноваться. Пусть Целое само заботится о восстановлении своей целостности, если в этом есть необходимость. Пусть возвращает меня в свое лоно, если это так уж важно для него. Я же, со своей стороны, ни противиться, ни стремиться к этому не собираюсь...

Второе:

— Я отгорожусь от Целого и, на всякий случай, от подобных мне частей — звуко-, свето- и влагонепроницаемыми стенами и крышей и покончу раз и навсегда с этой навязчивой проблемой...

Третье:

— Вот сейчас я перекувырнусь в пространстве, округлюсь как следует, и пусть кто-нибудь осмелится усомниться в моей цельности...

И четвертое:

— Цельность присуща мне изначально, т. е. с момента моего отделения, ибо я отделилась или, если угодно, откололась от Целого монолитом, а не каким-то крошечным осколком. Выражаясь метафизически, я нашла в себе самой благоприобретенную цельность, следова-

тельно, я есть Целое...

Знали бы части, как зорко следит за ними Целое, как забавляют его их ухищрения, как посмеивается оно над ними, так тонко, что они не замечают этого...

ЧЕЛОВЕК?

Недоумение вызывает у меня его все более и более укореняющаяся привычка селиться друг под другом, друг над другом, друг подле друга и, о Господи! – друг в друге...

Сможет ли человек в своей последующей эволюции противопоставить этому нечто иное или же попросту пожелает как когда-то ощущать под собой Землю, над собой – Небо, в себе – Бога и рядом с собой – локоть брата?..

ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – ПРОШЛОЕ

Почему иные так непоколебимо верят, что мы произошли от обезьян?

Не потому ли, что человекообразные передразнивают нас так правдоподобно, так по-человечьи? Уж не пытаются ли они таким образом наверстать упущенное, когда во времена оно им пришлось уступить дорогу в будущее другим особям, а может быть, всего лишь одной?..

Мы же, со своей стороны, достигнув того, к чему стремились, кое в чем уподобляемся нашим далеким предкам и даже соревнуемся с ними – и небезуспешно. Так мы платим им дань, памятуя о том, что мы в неоплатном долгу перед ними...

ПУЗЫРИ

Некто в гордом одиночестве восседает на возвышении и пускает, и пускает пузыри – своеобразные слепки со своего лица. Каждый выпущенный пузырь тут же начинает лезть вон из кожи, кичась перед братьями своим происхождением. Все дело в том, что некто так и задумал, именно так определил внутреннюю сущность своих детищ – они лопаются уже при первой попытке выдвинуться, сравниться с другими в свою пользу. Будучи равными и в равной степени никчемными, они без труда превращаются в ничто. При этом раздается тихий треск, настолько тихий, что его улавливает лишь чрезвычайно тонкое ухо самих пузырей – в этом их главное достоинство, но и трагизм. Другое их благоприобретенное достоинство в том, что они научились быстро размножаться. Благодаря этому их врожденная гордость передается из поколения в поколение, и нет ей ни конца ни края...

ЛЕВАЯ – ПРАВАЯ

Кто сказал, что левая рука слабее правой и что все дело – в правой? Пусть попробует правая обойтись без левой! Разве может воин держать в правой и щит, и меч, а пахарь – рукоять плуга, и вожжи, и плеть?

Правая непоколебимо уверена в себе лишь потому, что левая всегда на месте и в любую минуту готова прийти на помощь. Трудно сказать, что правая делала бы без левой, но сдается мне, что, окажись левая без правой, она бы непременно что-нибудь придумала, чтобы стать правой, оставаясь левой...

ДЕРЕВНЯ

Вечерние сумерки. На небе уже мерцают бледные звезды. В горной деревушке надо мной поспешили зажечь огни. Снизу она, дополненная воображением, представляется ярким созвездием неба – вожденной целью, ради достижения которой я готов пожертвовать всем. О если б мне достало сил добраться до нее, а возвращаться, знаю, надобности не будет...

ТАНЕЦ

Тело осторожно делает первое па, затем, осмелев, – второе и третье и некоторое время танцует без ведома души. Но вскоре на пороге принятия более смелых решений в нерешительности замирает, оглядывается на свою повелительницу и вопрошает:

– Так ты со мной или нет? Дальше я без тебя ни шагу.

Но равнодушная к танцу душа молчит. И тут тело взрывается, топает ногой и повторяет вопрос, да так категорично, что душе ничего не остается, как покориться. И танец зажигается с невиданной силой...

ПАУЗА

Захлопотались мы. Не в меру и не в радость себе. И в разгаре всей этой нескончаемой кутерьмы может появиться некто, кто вдруг решительно прервет нашу деятельность, категорически и авторитетно опровергнет все доводы, которыми мы пытаемся оправдать необходимость продолжать начатое, и может неожиданно уйти, оставив паузу после себя, которая позволит нам глубоко вдохнуть воздух, а выдыхая, распахнуть окно и посмотреть на небо...

Они лежат все там же, куда упали когда-то – крепкие, невозмутимо спокойные. Они молчат. В самом деле? А может быть, они хранят тайну в ответ на наше благоговение перед ними?

Самые слабые из них проговариваются и тут же рассыпаются в прах.

Иные из нас видят и слышат сквозь панцирь их безмолвия и сами превращаются в камни, немея пред величием прошлого...

ЯМА

Безоглядно щедро светило солнце. Не отрываясь смотрел я на него и не заметил, как угодил в глубокую яму. Я камнем полетел вниз и, несколько раз сильно ударившись головой о твердые стены ямы, потерял сознание, прежде чем достиг ее дна. Позднее я пришел в себя. Ноющая боль во всем теле, отдающаяся в мозгу, заставила меня открыть глаза и пошевелиться. В слабом отблеске света, проникавшего сверху, я увидел груды камней подле себя. Оттолкнувшись от них ногами, я начал медленно ползти в сторону света. Это придало мне сил, и я заторопился и тут же снова потерял сознание. Очнувшись, я продолжил движение к световому пятну. Я взглянул на стены ямы – они были отвесными, почти гладкими. Подняться по ним без специальных приспособлений в моем состоянии было невозможно, разве что во сне или грезах. И я решил было покинуть свое тело, да передумал. Ибо на дне ямы оставалась не столь уж маловажная часть меня самого. Я не мог бросить ее среди камней и велел своему телу немедленно начать

восхождение по стене и ни под каким видом не торопиться. Оно подчинилось, стало осторожно нащупывать даже самые ничтожные точки опоры и поползло вверх этаким многоножкой, преодолевая боль и преодолевая невероятные трудности. Я был постоянно со своим телом, предупреждая каждое его нецелесообразное поползновение ускорить подъем. В конце концов оно научилось беспрекословно слушаться меня, я же — повелевать им. И все же, уморившись, мы допустили-таки оплошность: не найдя твердой опоры, конвульсивно вцепились в рыхлый выступ стены и, сорвавшись, вновь очутились на дне ямы. Да, потеряны силы и время, но ведь это еще не все. И мы начали сначала, но на сей раз с более твердой верой в успех. Неожиданно для нас дело пошло чуть быстрее: мы ползли уже по проторенному нами, а значит, по н а ш е м у пути. Вот-вот должна была начаться неизведанная часть стены, и мы, трепеща от страха, тем не менее, решительно двинулись вперед — для верности еще медленней, придирчиво изучая каждый бугорок, каждую сколько-нибудь серьезную шероховатость, четко фиксируя ее в своей памяти. Однако бдительность снова изменила нам: наше внимание расплылось, мы опять приняли желаемое за действительное — рыхлость за твердость — и в третий раз рухнули на дно.

Но так как мы изучили и запомнили рельеф большей части стены, то уже не сомневались, что преодолеем ее еще раз без чрезмерных усилий. Затем, оперевшись на пройденное, вцепимся, если надо, вгрыземся в неизведанное, удесятерим усилия и осторожность и продвинемся вперед еще хоть на самую малость, пусть даже ценой нового срыва. И так, поднимаясь и падая и вновь поднимаясь, мы доползем в конце концов до начала падения...



Он светился в темноте. Его заметили, привезли на всемирный форум светильников и представили наименьшим калибром свечения.

Когда начались взаимные ослепления, то бишь демонстрация участниками форума своих возможностей, наш бедолага сразу потух за ненадобностью, но позднее, оправившись, забился в дальний, темный угол, обжил его и принялся за свое обычное дело – светиться в темноте.

Привезший его на форум вновь подивился таланту светлячка и экспромтом сделал доклад на тему “О целесообразности свечения в темноте”. Подавляющему большинству собравшихся его выступление показалось не самым ярким среди прочих и даже оскорбительным для авторитета официальных представителей света. И первым пунктом своей резолюции они исключили отщепенца из своего братства, а вторым постановили и впредь светить только и только друг другу. А светлячок наш был благополучно забыт...

АСФАЛЬТ

Археологи, обнаружившие его на большой глубине, долго ломали голову над определением его породы. После физико-химического анализа эксперты пришли к единодушному выводу, что этот материал, во-первых, способствовал гибели предшествовавшей цивилизации, а во-вторых, был, по-видимому, получен ученым-специалистом, страдавшим психическим расстройством...

К такому выводу пришли древние египтяне. Это была мудрая сентенция, в которой звучало предостережение. Однако, похоже, она не была услышана, кроме разве только отшельниками, и без того чуравшимися культуры, а еще более – ее расцвета.

Упадок египетской цивилизации начался, надо полагать, уже в ту пору, когда это нравоучительное изречение вошло в обиход египтян, и незаметно, но последовательно прогрессировал в полном соответствии со скрытым пророческим смыслом предостережения...

ЯВЛЕНИЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ

На затерянной в мировых просторах планете копошатся, мечутся, взлетают и падают живые существа! Все они дышат одним и тем же воздухом, едят почти одну и ту же пищу, пьют одну и ту же воду. Это обстоятельство вынуждает их считаться друг с другом. Так возникла некая общность видов и разновидностей, не нашедшая, правда, пока должного признания во вселенной, но потребовавшая тем более пристального внимания к себе, вознаграждаемого в тех редких случаях, когда оно имеет место, искренней признательностью, любовью и даже восхищением всех вышеупомянутых живых существ...

УРОК КОСМОЛОГИИ.

ГДЕ ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ?

Звездная ночь. Прямо передо мной – многовековое дерево с огромными светло-зелеными листьями. Его разлапистые ветви, казалось, объяли огромную часть



вселенной, вобрали в себя и свет оторопевшей луны. Мерцание звезд, сгрудившихся прямо над ним, как над чудом. Всей своей мощной статью, опирающейся на тело верной ему планеты, дерево с уверенностью, так не достающей мне, отвечает на извечный вопрос: — Здесь центр вселенной! Здесь, где я стою!..

ПЕСНЯ

Она пришла ко мне, не дожидаясь зова, быстро освоилась и не пожелала уходить. Я не стал выпроваживать ее, как это делают певцы и птицы, и держал рот на замке. Но скоро она так разрослась во мне, что пришлось выйти с ней на прогулку.

Я шел по аллее. Стояла весна. По обе стороны от меня цвели абрикосовые деревья. И я запел, не отрывая глаз от белых и нежно-розовых лепестков. Я пел и пел. Аллее не было конца...

ДНЕВНОЙ ЭПИЗОД НА УЛИЦЕ

Я заглядываюсь на девушек. Со мной заговаривают дети. Благорасположенные деревья ведут с ветром мирные переговоры. Под облаками и над ними несут патрульную службу птицы. А виновник всего этого похозяйски тепло улыбается сверху. Вот картина, достойная бесконечных воспроизведений, которые сами по себе могут доставить безмерную радость...

БЛУДНИЦА

Она продавала свое тело, продавала все дешевле и дешевле по мере того, как старела, по мере того, как

росла ее уверенность, что она сможет обойтись без этой ненужности. Однажды, когда в течение суток ей не удалось заработать ни полушки, она окончательно убедилась, что была права, когда ни в грош не ставила свое тело, и отошла в мир иной с мыслью, что это следовало сделать еще тогда, когда она сама положила цену единственному товару, которым обладала...

КЛЮЧ

Я нашел ключ редкой красоты. Материал, из которого он был изготовлен, похоже, не принадлежал ни к одному из известных мне металлов. По причине необычайной причудливости его формы я сразу же отказался от мысли открыть им какой-нибудь замок. Тем не менее, я не расставался с ним ни при каких обстоятельствах, ибо что-то вселяло в меня уверенность, что рано или поздно я непременно воспользуюсь им по назначению, мне пока неведомому...

ПРОКРУСТ В ПОЛЕ

Остро отточенной косой он подстригал чрезмерно длинные, как ему казалось, стебли травы, подравнивая ее. В конце концов он добился почти гладкой поверхности необозримо широкого поля. И тут к своему удивлению он увидел высокий стебель, возвышавшийся над всеми, как Геркулесов столп. Он взмахнул косой над замеревшей от страха травой и подрезал себя так, что поле стало безупречно ровным. Трава очнулась и пошла в рост...

Они появились Бог весть когда и откуда, а может быть, никогда и ниоткуда не появлялись и всегда жили на Земле. Но одна их характерная черта говорит о том, что они не земляне: они поглощают на своем пути все сколько-нибудь съедобное и полезное, ведут себя, как захватчики, как иноземцы. Похоже, у них одна задача: когда-нибудь унести все это с собой. И в самом деле, проходит время, и они исчезают – один за другим...

ЧАРОДЕЙ

М.Г.

Он поколебал устои порядка, воздвигнутые усилиями предшественников. Он умертвил сирен, завывавших поутру и ослаблявших объятья Морфея, в коих он черпал силы для своих магических сеансов. Он лишил работяг серпа и молота и ухитрился убрать наковальню из-под самого их носа, принудив их, точно кур, бессмысленно махать руками на голом месте. Он обуздал в людях гордыню, наделив их взамен гибкостью, с помощью которой без труда то вынуждал их склоняться перед его волей, то оборачивал их, как тянучку вокруг пальца. Каждый сеанс он сопровождал или завершал улыбкой, как бы говоря: все хорошо, а будет еще лучше. И он добился того, что его молили не убирать с лица улыбки, ибо она преисполняла всех неисчерпаемой, хоть и не сбывавшейся надеждой. Но, увы, силы его оказались не беспредельны: и когда они вдруг иссякли, дежурная улыбка тут же слетела с его лица, и оно застыло в маске языческого божка...

Он живет в книге, живет книгой и умудряется при этом сносно выглядеть, даже время от времени прибавляет в весе.

Но что за оказия? В одночасье он стал буквоедом, решив исследовать внутреннее строение, или, как он сам выразился, оправдывая свое рискованное предприятие, — “дух буквы”. После этого он как-то сразу сник, стал катастрофически худеть и вскорости вовсе исчез, по крайней мере, стал невидимым для обыкновенного смертного. Надо полагать, он сам обратился в дух — иначе как бы он смог проникнуть в чужеродную ему стихию? А в том, что он проник в неё, сомнений быть не может. Уж чего-чего, а пронырливости ему не занимать...

ХУДОЖНИК

Он писал прямо на мостовой в окружении толпы любопытных. Один из них ближе других подошел к нему и спросил:

— Почему вы не используете холст? Ведь только так можно увековечить свои творения.

Художник спросил в свою очередь, не поднимая головы:

— Разве не прекрасны бабочки, живущие всего лишь несколько часов, или цветы, отцветающие раньше, чем нам хотелось бы?

Любопытный не нашелся что ответить и в растерянности поднял глаза к небу. И тут разразилась гроза. Проливной дождь в считанные секунды смыл картину с мостовой и неожиданно перестал. Выглянувшее солнце быстро высушило улицу. Художник не торопясь восста-



новил картину. Любопытный не верил своим глазам. Он крепко пожал художнику руку и вышел вон из толпы...

НИЩИЙ

Изо дня в день, в один и тот же час он просил милостыню и на сон грядущий считал и пересчитывал подаяние. Он жил впроголодь, но и за малейшую подачку благодарил, поднимая взор к небу. Надежды, заботы, сомнения — все было предано забвению. Жизнь текла покойно, как Бесконечность. Однажды, сосчитав по обыкновению добытое за день, он задумался и решил не выходить более к людям. Однако в последний момент передумал, занял свой пост и весь этот день простоял сияя улыбкой, здороваясь за руку (или прощаясь?) с каждым встречным. В тот день ему подали чуть больше обычного. На другое утро он разделил вчерашнюю милостыню на три равные части и прожил еще три дня в райском блаженстве...

ЧЕЛОВЕК

Он освоил-таки и заселил собою планету:

воздух наилучшим образом служит ему;

вода в этом смысле соревнуется с воздухом и гладью поверхности, и влажностью, и многообразием рыб;

земля щедро одарила его полевыми угодами и горами, пустынями и лесами дремучими, в коих крики многочисленных диких зверей — лишь его присутствия подтвержденье...

ПОРТРЕТ В РАМЕ

Он висел в гостиной на видном месте и, естественно, бросался в глаза, но, как ни странно, не содержанием, а рамой, совершенно необычной и явно что-то изображавшей.

Я попросил хозяина дома, который оказался и автором портрета, пояснить мне кое-что. И услышал в ответ, что он хотел изобразить на полотне наиболее распространенный тип современного человека, так сказать, квинтэссенцию его состояния.

— Почему же я ничего, кроме рамы, не вижу? — спросил я изумленно.

— Тот факт, что вы не видите того, чего нет, говорит о том, что видите вы нормально. Но в данном конкретном случае вам следует понять, что главное содержание портрета, иными словами то, что еще осталось от человека, выведено здесь за рамки, вернее, в раму, а то, что отсутствует в нем, тоже так или иначе отображено мной.

И я внимательно посмотрел на портрет и, конечно же, сначала на раму. Ее планки оказались гораздо шире обычной рамы, настолько шире, что почти закрывали пространство, предназначенное собственно для портрета, и как бы составляли его тело, руки и ноги. Затем я задержал взгляд на середине картины и увидел, как из нее очень медленно стали проступать голова, затем крайне неотчетливо — брови и губы, но и только, хотя мне показалось, нечто бесформенное силилось вырваться из тисков обрамления и как-то предстать передо мной.

Все это время хозяин дома внимательно наблюдал за мной. — Согласитесь, что это шедевр! — похвастался он.

Трудно было не согласиться с этим утверждением...

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА

КОМНАТА НА ДНЕ ДУШИ

(Грузия в жизни моей семьи)

I

Мы были совсем крошками, я и мой брат, когда в сумерках старой московской квартиры, устроившись с ногами в обтрепанном кресле, замороженно слушали, как наша молоденькая, куда-то всегда спешащая мама, читала, иногда целыми часами, свои любимые стихи.

В глубокой теснине Дарьяла,

Где роется Терек во мгле...

Она читала наизусть полушепотом, свет не зажигали, чтобы было страшнее, чтобы потом, когда нужно будет спать, для нас долго еще “в темноте полуночи блистал огонек золотой”... И эта великая царица Грузии, которая “прекрасна как ангел небесный, как демон коварна и зла”, была нашим детским наваждением.

Лермонтовская Грузия – первое открытие Кавказа. С этими мифами ребенку предстоит долгая жизнь. А если он – поэт, они навсегда останутся в нем, как это случилось с Пастернаком, чтобы потом обернуться “Сестрой моей – жизнью”, памятью о Демоне, “Волнами”... И в детстве мучившая нас царица Тамара становится княжной у лампы, а “печальный дух изгнанья” – крылатым чудом, глянувшим на нас с врубелевского полотна в Третьяковке, разбившимся ангелом, зало-


мившим “оголенные, исхлестанные, в шрамах” руки
крылья. И главное – “там седеет Кавказ за печалью”.
Прекрасный и печальный Кавказ. Но это уже мифы
юности, второе открытие Кавказа.

Мама гордилась тем, что знает всего Лермонтова
наизусть. Так же смело могла она сказать и о стихах
Пастернака. “Разбудите меня ночью... с любого места...”
И судьба подарила ей эту “заслуженную” встречу с
кумиром ее юности – с Пастернаком. Студенткой она
бывала на его вечерах, поджидала у выхода, но боялась
даже написать записку, попросить прочитать любимое
стихотворение. Однажды в 1932 году встреча чуть было
не состоялась: приехавший в Москву Константинэ
Гамсахурдиа пригласил к себе в номер в гостиницу
“Метрополь” молодых сотрудников журнала “Смена”,
где она тогда работала. (Так пишет она в своей книге “В
плену времени”.) Уже во втором часу ночи хозяин объ-
явил, что сейчас к ним придет Пастернак. Но словно
какое-то предчувствие удержало от того, чтобы остаться,
“сидеть с ним за одним столом”, и она, как девчонка, не
объясняя причины, убежала.

Знакомство произошло через много-много лет. Затем
оно переросло в любовь, в длительную и глубокую связь,
выдержавшую тяжелейшие испытания. Среди арестов
и разлук был и период краткой передышки – “оттепель”
в структурах власти, “оттепель” в издательствах...
Настоящей волной хлынули издания замученных и
расстрелянных поэтов. И тогда я услышала от Пастер-
нака эти два имени – Паоло Иашвили и Тициан Табидзе.
Это было в 1956 году. Он как раз писал очерк – пре-
дисловие к готовящемуся однотомнику своих стихов (в
издание его не очень верил. Помнится, говорил: “По-
дожди, это у “них” скоро кончится!”). То, что он

рассказывал нам, вошло потом в книгу “Люди и положения” отдельной главой, где есть замечательные слова о его грузинских друзьях. Мне хотелось бы выразить свое отношение к Грузии одной из его фраз: “Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же, в тот же вечер... осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души...”

Готовился однотомник реабилитированного Тициана Табидзе в Гослитиздате в редакции народов СССР. Составителем, как бывало в подобных случаях, являлась вдова поэта Нина Александровна Табидзе, которой все эти страшные годы после ареста Тициана помогал Пастернак. Она приехала в Москву, жила у него на даче. Один раз, помнится, зашла и к нам на Потаповский. К тому времени у мамы накопился уже достаточный переводческий опыт. Она очень любила эту работу, особенно переводы грузинской поэзии – и Галактион Табидзе, и Александр Абацели, и Симон Чиковани, и Валериан Гаприндашвили, и Карло Каладзе были уже переведены ею. Многие, в том числе и Пастернак, хвалили ее. В архиве музея грузинской литературы, где находится часть хранившихся у нас рукописей Пастернака, та, что показалась “незначительной” агентам КГБ, производившим у нас обыск (поэтому они и сохранились в нашем доме), есть свидетельства их совместного труда: иногда он просто пишет свой вариант поверх ее не понравившихся ему строк, иногда ограничивается советами, иногда восхищается: “Очень хорошо, bravo! Ты – неподражаема!” Удивительно, но и мама осмеливалась поднимать свой голос: “Оч. плохо!” – написала она как-то около действительно неудачной строки его перевода. Или одобряла: “Чудесно!”, “Родной мой, вот это уже ты...” Целые папки черновиков, на которых



написано “Наши грузины”, и на этих пожелтевших
листочках – то ее голос, то его дополняют, поправляют друг
друга, и рождаются замечательные строки, иногда не
хуже оригинальных пастернаковских, например, эти:

В воде ловили цапли рыбу,
А волки резали телят,
Я людям говорю спасибо,
Которые нас возродят.

Я лить не стану слез горючих
О рыщущих нетопырях.
Я реющих мышей летучих
Не вспомню, побери их прах.

(Тициан Табидзе. “Высоким будь, как были предки”,
перевод Б.Пастернака. Интересно, опубликован ли он?
Вадим Козовой, мой муж, перечитывая эти строки,
сказал: “Бесподобное, головокружительное дыхание!
Мурашки по телу бегут, а из глаз – самые невольные
слезы. Бедный, бедный Тициан – и какая палаческая
нечисть!”)

После всего, что пережила мама сама за эти годы –
тюрьма, лагерь, гибель преждевременно родившегося
ребенка в тюрьме – можно себе представить, с каким
трепетом отнеслась она к работе над стихами Тициана
Табидзе, друга Пастернака, мученика сталинских
застенок, собрата по трагической судьбе. Она не спала
ночей, как бы заново переживая допросы и этапы, – она
ведь была очень открытым отзывчивым человеком!

Она посвятила памяти Тициана стихи:

Угадаю, как округлы формы
У души. Передо мной каркас
Некой поэтической платформы,
Очертанья, скрытые от глаз...

У меня такое ощущение,
Что с тобой я связана скорбя...

От меня зависит сила мщенья

Отщепенцам, мучившим тебя.

“От меня зависит...” Ей хотелось, чтобы слово замученного поэта прозвучало по-русски так же сильно, как и по-грузински. Мало кто, наверное, мог с таким страстным сочувствием отнестись к лежащему на столе подстрочнику!

Приходи. Пусть форма станет четче.

Я к тебе прислушаюсь в тиши.

Я горжусь, что вот я – переводчик

Старости не знающей души.

Горько вспоминать, но этот порыв натолкнулся на железный семейный кордон. Нина Александровна, горячо преданная “законному” очагу семьи Пастернаков, вдруг, когда книга была готова и должна была уйти в типографию, яростно воспротивилась участию в ней “беззаконной кометы” Ивинской и потребовала у директора издательства снять ее переводы. А ведь она была составителем! И тут только рыцарская твердость Пастернака спасла положение: он поставил ультиматум – либо все остается как есть, либо он снимает свои переводы. Ох, думаю, нелегко далась ему эта твердость!

Как бы там ни было, Н.А. Табидзе все годы оставалась преданным и верным другом поэта. До самого конца, до последней его минуты, и всегда – “на страже семейных интересов”. Именно к ней уехали Пастернаки в феврале 1959 года, когда через Д.А. Поликарпова из ЦК КПСС дали знать, что Пастернак должен уклониться от встречи с приехавшим в Москву английским премьер-министром. Макмиллан поставил условием своего визита (это после скандала с Нобелевской премией)



посещение переделкинской дачи. А дача должна была оказаться пустой! Какие-то трогательные кошки-мышки в старческих головах генсеков... Однако пришлось в них сыграть и скрыться за кавказским хребтом.

Обида, нанесенная маме Ниной Александровной, не проходила, она страдала от этого трагического “двурушничества”, плакала, не хотела разговаривать со звонившим из Тбилиси Борисом Леонидовичем, уехала в Ленинград... Он каждый день писал ей с почты письма, звонил мне в Москву – я всю жизнь была связным! А письма эти – они опубликованы – полны такой невыразимой нежности и грусти! Тут и сознание вины, и страх за любимую женщину (“Если ты жива, не арестована и в Москве”, – пишет он), и твердое нежелание что-либо менять формально в их отношениях (“Нити более тонкие, связи более высокие и могучие, чем тесное существование вдвоем на глазах у всех, соединяют нас”), и благодарность жизни, судьбе за “право самозабвенно погружаться в бездну восхищения тобой и твоей одаренностью и снова, и дважды, и трижды твоей добротой”.

“Я хожу по Тифлису (он всегда говорил Тифлис, а не Тбилиси) не так, как ходил по нему в прошлые свои наезды и гляжу на него не такими глазами”. Да, с того далекого первого открытия Грузии прошло почти тридцать лет. Та, первая встреча подарила ему “комнату на дне души”, а нам – “Волны”, живительный прилив “Второго рождения”, неповторимый пастернаковский гимн жизни, труду и красоте. Об этих стихах можно сказать словами Надежды Синяковой, когда-то так отозвавшейся на “Сестру мою – жизнь”: “Чтобы не хандрить, надо принимать по пять капель Пастернака”. И вот, через тридцать лет, он снова ходит по тифлисским



улицам, снова в холодные дождливые дни, и эта последняя встреча-прощание, всего год оставалось жить! “Я приехал сейчас не восхищаться, не вдохновляться, я приехал молчать и скрываться, провожаемый общественным проклятием”. “Как грустно мне вообще по утрам той знакомою беспричинною грустью, которую я так хорошо знаю с детства!” Но однако именно в Тифлисе, во время прогулок по городу пришла к нему мысль по возвращении домой приняться за большую и долгую новую работу, вроде “Доктора Живаго”, за роман, какою-то частицей являющийся его продолжением. “Что я тут делаю? Главным образом – скрываюсь”. “Очевидно, сюда дали знать писателям, как вести себя со мной – тихо, сдержанно, без банкетов, и я живу у Нины в совершенной глухоте и неизвестности”. Но разве нужны ему были “банкеты” с приветственными речами членов тогдашнего Союза писателей Грузии в городе, о котором он сказал когда-то:

Крыши городов дорогой,
Каждой улицы крыльцо,
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо?

Эти последние строки из цикла “Художник”, которым мы также обязаны Грузии. Лирический герой этого цикла – поэт, но кто именно? В журнальном варианте цикл имел посвящение – Георгию Леонидзе. Тифлисские улицы, витрины, внезапная метель, скромный дом, властный голос поэта, который “плавит все наперечет”, спящие дети в спальней – картины очень конкретные и безусловно связаны с посещением дома Леонидзе, обязаны дружбе с ним. (Этой весной и мне посчастливилось познакомиться с членами этой семьи). Но постепенно отдаляясь от конкретных черт живого прото-

типа, образ поэта приобретает патетический масштаб — это уже Художник вне времени, почти что пушкинский пророк, а конь его — не знаменитый ли Мерани Бараташвили, носивший еще лермонтовского Демона?

Твой поход изменит местность.

Под чугун твоих подков,

Размывая бессловесность,

Хлынут волны языков.

II

Второй раз Грузия вошла в жизнь моей семьи благодаря моему мужу Вадиму Козовому, который считал эту страну своей второй родиной. Мы познакомились (заочно, разумеется) в мордовском лагере для политзаключенных. Мне удалось передать ему, самоотверженно изучающему на лагерных нарах французский язык, антологию современной французской поэзии. Он тогда уже писал стихи и стал пробовать себя в поэтическом переводе. Первым его переводом, еще неумелым, было знаменитое стихотворение Поля Валери “Морское кладбище”, где он на разные лады перекладывал прославленный конец этого текста (буквально “Поднимается ветер. Надо попытаться жить”):

Поднялся ветер. Жизнь зовет решиться.

Листает вихрь пожухлые страницы...

И вот под знаком этого французского поэта началось и наше знакомство, переросшее в семейную близость, и родилась горячая дружба с замечательным грузинским ученым, писателем, прекрасным человеком Акакием Константиновичем Гацерелия. Освободившись из лагеря, отказавшись от рутинной совслужбы, Вадим стал “пробивать” свои переводы. Он увлекся не столько Валери-поэтом, сколько Валери-мыслителем, в русском

понимании этого слова. Он составил и по большей части перевел сам замечательный том эссе Валери об искусстве. В прокисшем царстве марксистско-ленинской эстетики 70-х годов эта книга явилась глотком свежего воздуха, воспитала целое поколение свободно мыслящих интеллигентов. А.К.Гацерелия был горячим поклонником эссеистики Валери, и вот в один прекрасный день мы получили от Татьяны Никольской, известного специалиста по грузинскому авангарду, имевшей много друзей в Тбилиси, письмо: “Вадим, у меня к тебе есть большая просьба. В Тбилиси живет мой большой друг профессор А.К.Гацерелия. Он очень образованный человек, а Валери его кумир. Твоя статья в “Вопросах философии”, перепечатанная, у него под стеклом. В комнате фото Валери. Он считает его крупнейшим мыслителем и писателем XX века и мечтает о его сборнике статей. Если бы ты ему послал, он был бы счастлив. Вот его адрес...”

Я думаю, был бы счастлив и сам Валери, узнав, сколько судеб сумел он связать в один узел своим творчеством. И вот осенью 1979 года Вадим сошел с трапа самолета в тбилисском аэропорту, а встречал его А.К., с портретом Валери в руках – ведь они не знали друг друга в лицо, а как отличить собрата в толпе встречающих?

Вадим поселился в гостеприимном доме Гацерелия, полюбил его жену, Ламару Владимировну, его детей. Они разговаривали ночами – оба были “совы”, оба страшно много курили, оба обожали Розанова... Со слезами рассказывал мне потом Вадим, что А.К., оказывается, много лет посылает деньги Татьяне Васильевне, дочери “Василь Василича”, как они его называли, узнав, в какой страшной бедности живет “дочь такого великого чело-

века” (слова А.К.). Может быть, благодаря его помощи, она и сумела написать свои воспоминания об отце, такие пронзительно простые и трагические. А.К. познакомил Вадима со своими молодыми (тогда!) друзьями: Бачаной Брегвадзе, Гиви Гегечкори, Эмзаром Квитаишвили, который стал теперь и моим другом.

У Вадима был трудный характер и очень нелегкая жизнь. И если были в этой жизни безусловно счастливые минуты, то они связаны с его пребыванием в Грузии, с грузинскими друзьями, которыми он был беззаветно любим и которым остался предан до последней (буквально!) минуты. Ведь поэта, особенно такой трагической ноты, надо иногда “баловать”, не жалея ни добрых слов, ни сердца, чего не умеют делать “северные” люди, и он открывается тогда в своей детской незащищенности настужь. Ведь недаром же так манила его всю жизнь тайна человеческой улыбки, его последнее эссе так и называется – “Улыбка”. Лица, обернувшиеся к миру улыбкой... Душевным отдыхом стали для него дни в Тбилиси. В Доме писателей прошел вечер его поэзии. В “Литературной Грузии” с предисловием Бачаны Брегвадзе были впервые на русском языке опубликованы его переводы “проклятых” поэтов – публикация, невозможная в то время в России. Как когда-то Пастернака, его поразила “умственная жизнь, в те годы в такой степени уже редкая”.

Чтобы порадовать А.К., Вадим, который переписывался с дочерью Поля Валери Агатой, попросил ее прислать для “грузинского почитателя ее великого отца” надписанные ею книги. Книги дошли. А.К., который очень любил посылать длинные телеграммы (в этом тоже была какая-то обаятельная щедрость!), тотчас откликнулся. Вот текст этой телеграммы: “Дорогой милый



Вадим поздравляю с Новым годом целую тебя детей руки твоей супруги получил твою телеграмму и телеграмму дочери Валери (!) пишу письмо ей благодаря тебе моя библиотека обогатилась бесценными книгами все время вспоминаем тебя ты уже стал частью не только моей жизни но и жизни моих друзей желаю тебе крепкого здоровья и больше ничего не требуй у природы ты слишком богат умственно и духовно до скорейшей встречи с глубоким уважением и любовью всегда ваш – Акакий Гацерелия”. Ламара Владимировна, вдова А.К., этой весной рассказала мне, что фотография Вадима стояла на ночном столике ее мужа до самой его кончины.

А.К. через своих друзей, работавших в Музее дружбы народов, договорился о том, чтобы мы (с согласия мамы) продали им хранившуюся у нас часть архива Пастернака. Вадим взял на себя все хлопоты по переговорам (как странно, что в опубликованных недавно материалах музея нет ни слова благодарности нашей семье, причем Вадим небрежно назван Игорем, а ведь этот архив – настоящее сокровище!). Сколько проклятий посыпалось потом на его голову – “продали в Грузию!!!” Мы сделали это совершенно сознательно, не только потому, что в архиве было очень много переводов грузинской поэзии (“Наши грузины”) как Пастернака, так и мамы, но и потому, что разные свидетельства интимной жизни (записочки Пастернака, его наставления маме и пр.) должны были попасть в руки друзей. А.К. был горячим сторонником этой акции.

Один раз А.К. приезжал в Москву и гостил у нас в Потаповском. Он привез свои рассказы, и я была поражена его талантом прозаика, скупым современным языком подлинного мастера. Мы подолгу разговаривали с ним в нашей маленькой кухне, он повел моего сынишку

в “Детский мир” и буквально засыпал его игрушками. Устроили и встречу с мамой, А.К. вспоминал свое знакомство с Пастернаком в 30-е годы, особенно запомнился один его рассказ, наверное, известный многим, — о посещении Пастернаком металлургического комбината, кажется, в Зестафони. Вместо приветственного слова металлургам Пастернак, потрясенный условиями каторжной работы на этом комбинате, воскликнул: “Бедные мои, бедные! Это же ад, настоящий ад!” Это был замечательный вечер.

Но... “поднялся ветер. Жизнь зовет решиться”, — сказал Поль Валери, и в 1981 году Вадим решился (ему разрешили — после десятилетнего битья головой о стену) поехать во Францию с нашим старшим сыном. Он написал в Грузию письмо перед отъездом: “...случаются, видимо, на свете чудеса. Когда это произойдет, сказать невозможно. Я ничего не забываю: ни Вашу прозу, ни заказы на книги... Построена ли уже квартира для Дуды и ее семьи? Как вы все намерены разместиться? Как теперь обстоит дело с Вашей работой? Хотел бы все знать. Касательно некоторых обстоятельств, приведу слова моего друга, одного из самых ЧИСТОКРОВНЫХ поэтов нашего времени Рене Шара: “Мы сильны. Пусть все силы объединились против нас. Мы уязвимы. Но гораздо меньше, чем нападающие на нас, те, у которых нет ВТОРОГО дыхания”.

Пришло ли к Вадиму во Франции это второе дыхание? Он много работал, много написал. Но состояние того отдыха души, которое он испытал в Грузии, больше не посещало его. Связь с грузинскими друзьями он поддерживал до самой смерти. От А.К. приходили письма: “Обнимаю и целую Вас как моего сына! Я и все грузинские друзья скучаем по Вам. Скажу больше — Ваше

отсутствие порождает ощущение какой-то пустоты!

Вадим писал в ответ: “Дорогой А.К., письмо Ваше безумно меня обрадовало, как будто услышал я не только Ваш голос, но и грузинский воздух, звуки улиц Тбилиси – все, о чем тоскую. Начал было писать Вам длинное письмо, но оно показалось мне таким грустным, что пришлось отложить... Зато написал дорогому Эмзару, которого помню и люблю...” Таких писем сохранилось несколько, их нельзя читать без душевной боли: “Дорогой Акакий Константинович, когда читал Ваше письмо, слезы наворачивались у меня от полноты любви и воспоминаний. О Вас, о милых и щедрых грузинских друзьях, о навсегда любимой и незабываемой Грузии, самой, быть может, красивой стране на свете, я говорил здесь многим, в том числе и моим друзьям Мишо, Жюльену Грину, Бланшо, Граку, Беккету, Шару, Жану Кассу и многим другим, лучшим в этой стране. Скажу Вам просто: иногда, когда вспоминаю Грузию, сердце щемит и рыдаю, как маленький ребенок”. “Дорогой и любимый Акакий Константинович, давным-давно ничего не знаю о Вас – и всей душой болею за Грузию. У меня теперь сложилось впечатление, что никогда в жизни я больше не увижу Вас, Вашу семью, мне столь близкую, Ваших и моих друзей, о которых вспоминаю часто, и незабываемую, чудесную, сказочную страну...”

Предчувствие не обмануло Вадима. Он больше не увидел своих грузинских друзей. Он скончался 22 марта 1999 года, а на его столе лежало последнее в его жизни письмо (не успел отправить) – в Грузию...

А мы, русские или “русскоязычные”, в России или разбросанные по свету, но выросшие в общей стране, не порвавшие духовной связи с нашими грузинскими братьями, продолжаем всей душой, особенно в эти дни

остервенелой межгосударственной вражды, болеть за Грузию... Ведь там – “седеет Кавказ за печалью...”

Париж, октябрь, 2002 год

Тамар ДУЛАРИДЗЕ

СТРАННИК

(Житие и гражданство архимандрита Григола Перадзе)

Проживи архимандрит Григол Перадзе долгую и благополучную жизнь, все равно это было бы и житие праведника, и увлекательная приключенческая история.

Но он умер в 43 года, был убит в Освенциме, куда гитлеровцы отправили его за то, что он последовательно и свято исполнял долг христианина: *“Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; в темнице был, и Вы пришли ко Мне”* (Мф 25, 35-36) – укрывал гонимых, целыми семьями спасал евреев, навещал сосланного гитлеровцами митрополита Дионисия, предстоятеля Польской Православной церкви.

И в Освенциме, где все были равны перед смертью, – немцы и поляки, евреи и цыгане, коммунисты и католики, крестьяне и интеллигенты, где смерть была осязаема и вездесуща, архимандрит Григол Перадзе бросил ей вызов. Он заменил собой другого, поменяв свою жизнь на чужую смерть с той легкостью, с какой принц Уэльский Эдуард поменялся одеждой с нищим Томом Кенти. Может быть, именно эта легкость и стала



причиной столь долгого забвения его подвига. Легкость и явная непрактичность: песчинка, пожертвовавшая собой ради другой песчинки.

Но ведь идеально отрегулированная машина зла, пусть на долю мгновения, да дала сбой. Перемалывающая не только плоть и кости, но чувства и мысли, машина эта оказалась вынуждена принять вызов одинокого рыцаря веры, отваги и любви. Их было немного, таких рыцарей: польский писатель и педагог Януш Корчак, поляк-францисканец Максимилиан Мария Кольбе, русская поэтесса и монахиня мать Мария Скобцова и грузинский ученый богослов архимандрит Григол Перадзе – вот все известные нам до сих пор имена...

Впрочем, известные мало и за исключением, пожалуй, отца Максимилиана Мария Кольбе. Во всяком случае, ни мать Мария, ни отец Григол не канонизированы как христианские мученики, потому что Церковь не располагает свидетельством об их мученической смерти. Впрочем, кто должен свидетельствовать? Палачи? Жертвы? *“Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем”* (Мф 13,57).

Выпущенный с отличием из Тбилисской семинарии Григол Перадзе стал солдатом, защитником кратковременной независимости Грузии. Ученый и странник, берлинский студент, постриженный в Лондоне, рукоположенный в Париже священник, основатель православной грузинской общины святой равноапостольной Нино в Париже, профессор Боннского, Лувенского, Краковского, Оксфордского, Варшавского университетов, блестящий богослов, полиглот, переводчик, историк, комментатор, поэт, по словам всех лично знавших его, был истинным рыцарем, настоящим подвижником и праведником.

Труды архимандрита Григола Перадзе опубликованы на грузинском, французском, немецком, польском языках, разбросаны по библиотекам и архивам разных стран. Будучи православным богословом, специалистом и знатоком духовной литературы, памятников первых Поместных Церквей, он неизвестен большому числу православных, в том числе и в России.

Да и в Грузии о нем знают мало. Отказав ему в возвращении на родину, советская власть последовательно уничтожала его труды и даже само имя. В 1937 году, когда во всем мире широко отмечалось 750-летие Руставели, в Грузии пошел под нож тираж сугубо литературоведческой книги руствелолога Гайоза Имедашвили только за то, что в сноске была указана статья Григола Перадзе о Руставели.

Но, слава Богу, от того ножа уцелел не только спрятанный автором единственный экземпляр “крамольной” книги... Кто-то бережно собирал статьи Перадзе, у кого-то чудом сохранились фотографии, надпись на книге, письма из тюрьмы, документы. Студенческие анекдоты сообщают печатному или рукописному тексту, торжественной черно-белой фотографии живую характерность. И то, что тогдашние студенты – ныне протоиерей Николай Ленчевский, протопресвитер Виталий Боровой, митрополит Варшавский и всея Польши Василий, известный польский историк Александр Гейштор сохранили юношеское восхищение своим профессором: *“Он знал 27 языков, иногда вовсе неожиданные, например, датский”, “Он был сенсацией Варшавы!”, “Он был бесстрашен и благороден”.*

Варшавский священник, протоиерей Генрих Папроцки, будучи студентом Свято-Сергиевского Православного института в Париже, принял активное уча-

стие в поисках трудов и документов архимандрита Григола Перадзе по просьбе своего профессора, ныне уже покойного протоиерея Ильи Мелиа, настоятеля церкви св. Нино. Сам о.Илья не был знаком с Перадзе, но прихожане постарше помнили своего первого настоятеля. Результаты исследований о.Генрих Папроцки обнародовал в основном во французском *“Revue des Etudes georgiennes et caucasiennes”*, (п.4, 1988, Paris), продолжая поиски, переводя и печатая работы Григола Перадзе. Он же составил проект службы священномученику Григорию.

Свои поиски вел и грузинский документалист Резо Табукашвили, чья работа над фильмом о Григоле Перадзе была прервана болезнью и смертью, но еще раньше – той стеной умолчания и недомолвок, а то и прямой клеветы, в которую уперся вслед за молодым варшавским священником признанный грузинский режиссер. Тем не менее, Табукашвили успел снять несколько важных интервью с людьми, близко знавшими архимандрита Григола.

Вероятнее всего, разгадка находится в архивах, до последнего времени недоступных для исследователей. А пока известна только фраза, брошенная знакомым гестаповцем дьякону варшавской митрополии Георгию Беркман-Каренину: *“Его выдал кто-то из своих”*. И две легенды, каждая из которых имеет равное число приверженцев.

Первая: три барака, где находились, в основном, поляки, немцы вывели на мороз (это было 6 декабря) и сказали, что будут держать их до тех пор, пока тот, кто украл хлеб, не признается в этом. И тогда отец Григол вышел и сказал им: *“Делайте свое дело”*, а потом повернулся к колонне заключенных и попросил: *“Моли-*

тесью обо мне...” На него натравили собак. Но те не тронули отца Григола. Нацисты облили его бензином и сожгли.

И вторая: когда отправляли в газовую камеру очередную партию евреев, отец Григол вошел в нее вместо *“отца большого семейства”*, который был в отчаянии.

Чудесным образом этот странствующий монах и священник, так никогда и не получивший иного паспорта, кроме *“нансеновского”*, всю жизнь тосковавший по Грузии, не был эмигрантом ни в Германии, ни в Польше, ни во Франции. В Германию его послали для завершения образования его грузинские учителя – профессор Корнелий Кекелидзе, замученный впоследствии в большевистском застенке католикос-патриарх Амвросий и расстрелянный большевиками же митрополит Назарий, и сделали они это с помощью немецкого ученого-картвелолога Артура Лайста и главы *“Ориент-миссион”* в Потсдаме доктора Лепсюса через германского посла в Грузии.

Франция стала родиной его священничества, а Польша – подвига. Он разделил их участь, как разделил участь Грузии, в истории которой грузинские большевики сыграли не менее роковую роль, чем нацисты и Гитлер – для Германии. Не случайно отец Григол стал изгнанником и здесь.

Он был умен, добр, образован (студенты Варшавского университета называли его энциклопедией) и просто-душен. Утверждал, что главными предметами для человека являются филология и патристика, потому что, будучи христианином, знал: нет ничего важнее для человека, как жить в Боге, а научить этому могли те, кто так жил. И язык был сосудом, хранящим их опыт.

Он занимался патристикой, и потому – древними



восточными языками, арамейским, сирийским, коптским, древнеармянским. Проповеди и духовные искания святых и аскетов, живших в VI-XIII веках, были полны огня и живого чувства, были доступны пониманию, правда, не без усилий. Но то, что открывалось в них, было достойно этих усилий.

Несомненный литературный дар, проявленный отцом Григолом в стихотворениях, проповедях, в новом переводе “Песни Песней”, помог ему очень скоро стать общепризнанным в Германии филологическим чудом. После его доклада на межуниверситетском совещании филологов было принято решение рекомендовать в программы университетов изучение грузинского языка и литературы.

Одно мешало ему устояться в роли уважаемого профессора богословия: он метался, ища пути домой, в Грузию. Но “архипелаг” опустил занавес. Непроницаемый и для менее заметных, чем доктор философии, православный богослов Григол Перадзе.

Он приехал в Берлин, в миссию доктора Лепсюса, как он думал, на год или два, надеясь и торопясь вернуться на родину, но в советском консульстве у него отобрали паспорт и больше никогда не вернули. Новая власть подавившая одну шестую мира, не нуждалась ни ученых богословах, ни, тем более, в священниках.

Григол Перадзе стал обладателем паспорта, который его благодетель Иоганн Лепсюс изобрел вместе со своим другом Фритьофом Нансеном для беженцев. “Нансеновский” паспорт давал хоть какую-то тень в выжженном одиночеством и неприкаянностью пустыне эмигрантского существования.

Не прошло и десяти лет, как он понял, что эмиграция — навсегда. Но не опустил рук. Деятельная натура Григола

Перадзе нашла еще одну область применения: задумал невозможное: объединить очень разных, подчас отчаявшихся и потерянных изгнанников вокруг единого грузинского религиозно-культурного центра, с тем, чтобы создать некий мирской Ивирон (так греки стали называть Иверский, т.е. грузинский монастырь на Афоне, который удостоила избрать для своей иконы – хранительницы Афона сама Божья Матерь, отчего и называется Вратарница Иверской обители *“Тон Ивирон”* – иверцев, Иверская), где усилия разрозненных частиц, насильно отторгнутых от тела Грузии, могли бы служить ей, укрепляя и укрепляясь.

Перадзе собрал верующих и основал вместе с ними первую и до недавнего времени единственную за пределами Грузии грузинскую православную общину и церковь во имя святой равноапостольской Нино в Париже. В Лондоне было задумано издательство Георгика, в Париже – журнал грузинской общины *“Джвари вазиса”* и новый перевод Библии на грузинский. Почти два года община просуществовала без своего священника. В 1931 году Перадзе принял постриг, а затем и сан священника. И стал первым настоятелем церкви святой Нино.

Построить в Париже церковь, наверное, сложно. Для эмигрантов из страны, легкой если не на дно, как Атлантида, то, во всяком случае, в дрейф где-то неподалеку от нее, и вовсе невозможно, при всей широте парижских властей. И все же церковь святой Нино существует. Пусть и скромно. Но кто знает, может быть, это и защищает ее. Ведь афонский Ивирон был слишком велик, славен и богат, чтобы устоять против очередных похитителей золотого руна. Впрочем, храм собирались строить. На деньги, которые пообещал отцу Григолу торже-



ственно, в день своего венчания с одной из самых богатых наследниц Америки знаменитый Мдивани. Не получилось.

Во всей грузинской эмиграции первой волны отец Григол стал на долгое время единственным православным священником и в силу своих обязанностей, да и возможностей, оказался в гуще разных интересов, устремлений и направлений этого самого крупного за всю историю Грузии "рассеяния". И, конечно, каждая группировка, партия желала использовать его недюжинные знания и быстро набирающий силу авторитет. А ставшие доступными совсем недавно архивы открыли еще одну, может быть, наиболее тяжелую сторону жизни отца Григола: постоянный интерес к нему разведывательных служб, правда, со столь же постоянным разочарованием.

Потому что этот странный апатрид, вся профессорская зарплата и гонорары которого уходили на книги, на поддержку бедных студентов, на аренду помещения церкви св.Нино в Париже, на дальние путешествия по монастырям, ни на какое сотрудничество не шел, всем армиям мира и тайным службам предпочитая ту, форму которой носил открыто с 1931 года – рясу монаха и священника.

Сейчас, через ставшее прозрачным время, обозначилась цель, которую преследовали кормчие Грузинской Православной Церкви, решив на Гелатском Поместном соборе 1921 года вопрос о дальнейшей учебе молодого Перадзе. Произошло кораблекрушение, и они спасали, что могли. Выбор оказался точным. Их питомец, уже имевший к тому времени солидное образование, с живым умом, открытым для знаний, оказался недоступен искушениям и соблазнам того огромного мира, перед которым предстал столь незащищенным, казалось, и

одиноким.

Странствуя по свету, с повергающей в изумление легкостью переходя на язык собеседника, проникаясь сочувствием к обыденным радостям и печалям современников или к трагической тайне чужого народа, ни на миг не прерывал он живой и глубокой связи со своей родиной.

“Несчастен тот, кто не сращен более со своей Отчизной жилами, кровью и плотью, кто не ощущает в себе завета, не чувствует уже своих предков, кому более ничего не говорит природа – такой человек может жить в Тбилиси так же, как на чужбине” (“Об истинном гражданстве”).

Язык Грузии, ее святые, ее Руставели и прежде всего – крепость православной веры, *“наиценнейший клад нашего народа”*, позволявшая ему без надменности и раздражения выслушивать христиан других конфессий, помогали разматывать клубок неточностей, ошибок, противоречий, продвигаться к самому началу истории христианской церкви в поисках той части, где все было еще цельно и крепко.

Впрочем, он знал и проповедовал истинное гражданство – в Боге. И считал христиан ополчением против зла. *“Церковь не музей, – сверкал он очами на своих прихожан, – и меня прошу считать не музейным экспонатом, но воином, который ищет воинов среди вас – милицию Бога для созидания будущего нашей Церкви”*.

Он знал условия, которые безоговорочно принял при пострижении в 1931 году: *“Сам бо Господь рече: аще кто хочет вслед Мене идти, да отвержется себя и возьмет крест свой и да последует Мне: еже есть готову присно быти даже до смерти на всякое*

исполнение заповедей Его, ибо алкати имашши и жаждати и нагствовати, досадитесь же и укоритесь, уничижитесь и изгнатиися” (Из канона пострижения в малую схиму, или мантию).

И в оставшейся ему недолгой жизни с достоинством перенес голод и жажду, был досаждаем и укоряем, и изгнан. Был арестован и унижен клеймом концлагеря, где сподобился мученической кончины, приняв ее добровольно вместо другого. Так он до конца исполнил оба главных завета Христа: *“Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, и всем разумением твоим”* и *“возлюби ближнего твоего, как самого себя”*.

И если удастся приоткрыть над тайной смерти отца Григола завесу, сотканную людьми, обстоятельствами и временем, то, может быть, тогда мы сможем прикоснуться и к тайне сокровенной. Ибо долгое молчание, пауза во времени и памяти, отсутствие официально зафиксированного свидетельства о подвиге лишь подчеркивают абсолютную вертикальность последнего решения отца Григола, его одиночество перед Богом, простоту и ясность жеста – так вежливый уступает дорогу, а щедрый делится добром, – именно в силу простоты и ясности непостижимого.

Когда мать Тереза Калькуттская наклонилась к первому из спасенных ею умирающих – тот едва дышал и по нему уже ползали черви – подняла его, умыла и накормила, он спросил ее: *“Почему ты это сделала?”*. Мать Тереза ответила ему: *“Потому, что я люблю тебя”*.

Когда немецкий офицер, позволивший отцу Кольбе принять смерть вместо одного из обреченных на казнь, спросил его: *“Почему Вы это делаете?”*, он ответил:



“Потому, что я священник”.

Об отце Григоле Перадзе и матери Марии Скобцовой легенды молчат. Есть только жест — однозначный в своей непостижимости. Голгофа длится, и длятся крестные муки, но когда человек претворяет сострадание в любовь, настолько сильную, чтобы разделить чьи-то страдания, он становится сопричастным и Славе Божией. И для него уже никакая другая слава не имеет значения. Она имеет значение только для нас.



Резо КЛДИАШВИЛИ

ОДИНОКАЯ ДУША

Сцена представляет собой обитель одинокой женщины. В комнату входит пожилая женщина с выражением отчаяния на лице. На голове у нее – шлем мотоциклиста, в руке – сумка. Она осторожно стряхивает с пальто пыль, снимает и вешает тут же, у двери. Превозмогая боль в ногах, подходит к стулу, опирается на него.

Эка – Все же как неожиданно оказалась я в самой гуще толпы. Нахлынувшая людская волна подхватила меня и швырнула оземь. (Садится на стул) Кто только не прошелся по мне! Эти туфли, туфли разных размеров, разных фасонов... А сапоги, огромные, тяжелые, они все приближались ко мне, приближались (прикрывает лицо рукой) и уже готовы были растоптать меня (встает со стула), как вдруг мне явилась блаженной памяти моя теть, сестра отца. Она просто отодвинула в сторону эти сапоги, повернулась и ушла. Милая теть! (Как бы спешит следом за ней. Лицо ее вдруг озаряется) Я очутилась в чудесном маковом поле! Теть!.. Она сердито оглянулась на меня, приказала: – Немедленно возвращайся домой! – И исчезла. Когда я пришла в себя, вокруг меня толпилось множество людей. Да, среди них были и журналисты с микрофонами, они спрашивали меня, каковы мои требования. – Я хочу домой, – сказала я. Одиной



седовласый полицейский встал надо мной и, улынувшись, спросил: — Не ушиблись, часом, госпожа Чито? — Прежде чем я ответила, что никакая я не Чито, он протянул мне руку, осторожно помог подняться и успокоил журналистов, сказав, что он — мой хороший знакомый, что он проводит меня домой. Потом посадил меня в микроавтобус, сам уселся за руль и, тронув машину, наклонился ко мне: — А теперь, Чито, я повезу тебя за город, на свежий воздух. Наверняка, он меня спутал с кем-то, но все равно было приятно. Не перевелись еще в Грузии настоящие мужчины, говорю, кое-кто остался. Будь я помоложе, могла бы подумать что-нибудь... Тут в машине раздался какой-то шум, я оглянулась и увидела, что еду в набитом участниками митинга автобусе. Нас вышвырнули из машины за городом, в лесу. Услышав лай голодных псов, я подумала: Боже, в чем же я провинилась, что ты посылаешь мне смерть?! Тут появился молодой человек на мотоцикле, он искал среди нас своего деда, такого же пожилого человека, как я. По-видимому, деду подобное было не впервой. Они сжалились надо мной, посадили на мотоцикл, и как домчали до дому, не помню. От страха я вцепилась в молодого человека с такой силой, что он с трудом освободился от меня. О, как болит у меня все тело! Голова тяжелая, словно в тисках (прикладывает руку к голове и приходит в изумление). А это откуда?! Наверное, молодой человек надел на меня. Что они подумают? Впрочем, им известен мой адрес. Молодой человек вернется за своим шлемом... (Подходит к зеркалу) На кого я похожа?! (Переводит взгляд на фотографию) Знаешь, Ника, где чуть не растоптали меня? У оперного сада, сада нашей оперы, где мы с тобой встретились впервые. А ведь задержись я на Сухом

мосту, уберегла бы себя от этой беды. Впрочем, на все воля Божья. (Почувствовав боль в желудке, вынимает из сумки завернутый в целлофан хлеб, быстро отламывает кусок, кладет его в рот и долго, долго жует, потом с трудом глотает и переводит дух)

– Это генетическое, генетическое. Тетя говорила, мою мать тоже беспокоили боли в желудке. Родителей я не помню, их взяли, когда мне не было и года. Меня воспитала и дала образование моя незамужняя тетя, сестра отца. Она работала машинисткой в нотариальной конторе. На ее рабочем столе стояло мое фото, и, печатая, она допускала массу ошибок – постоянно засматривалась на меня. Мне исполнилось девять, когда закончилась Вторая мировая война. В тот год меня приняли в ряды пионеров. Мне повязали красный галстук, помню, стоял февраль, и я была на седьмом небе от счастья и все время держалась за воротничок своей шубки, чтобы и в самом деле не взлететь. Однажды, возвращаясь из школы, я увидела перед окнами нашего дома пленных немцев, одетых в одинаковые солдатские шинели, – они мостили улицу камнем. Я жутко боялась немцев и от страха вжалась в стену. Один из них увидел, что я стою с белым, как мел, лицом. Он вынул из кармана шинели гармонику, приложил к губам и заиграл, ободряя меня взглядом при этом. Тетя этого пленного даже пригласила в дом, и мы подружились. Он оказался скрипачом. Вскоре он исчез. Тетя успокаивала меня: наверное, вернулся на родину.

Тем временем я закончила школу с золотой медалью. Я училась в десятилетке для одаренных по классу скрипки. Тетя настояла, чтоб я учила и французский. Она не жалела себя, лишь бы дать мне хорошее образование. Да, чуть не забыла, она водила меня и на

ипподром. Наконец, я стала студенткой консерватории, но и тогда тетя никуда не пускала меня одну, повсюду ходила за мной, носила мою скрипку, чтобы я не утомилась. Когда мы шли по улице, она не позволяла глядеть по сторонам – смотри под ноги, не споткнись. Однажды соседка Варя сказала моей тете: Ната, ты мудрая женщина, как ты не понимаешь, что нельзя тенью ходить за своей племянницей, она хоть и ангел, но люди чего доброго подумают, что у нее падучая, и никто ее замуж не возьмет. Тете не понравилось это замечание, несколько дней она находилась в мрачном расположении духа. И в один прекрасный день, сославшись на недомогание, отпустила меня в консерваторию одну. Моя тетя, как я себя помню, никогда не болела, и я поняла, что недомогание было надуманным. Слова соседки возымели свое действие. Так или иначе я отправилась в консерваторию одна. (Хватается за спинку стула) Боже, как я была счастлива! Тогда я впервые почувствовала вкус свободы, аромат проспекта Руставели. Я останавливалась у каждой витрины, улыбалась всем встречным. Какой-то парень со шрамом на лице неожиданно преградил мне путь и спросил: – Почему ты мне улыбаешься? – У меня прекрасное настроение, – ответила я. – А у меня – хуже некуда, может быть, поможешь мне поднять его? – Постараюсь, – ответила я. Неожиданно он взял у меня скрипку. Сердце ёкнуло – уж не подослан ли он моей тетей. Но когда мы прошли по Руставели, и я увидела, с каким уважением здороваются с ним парни, с удивлением разглядывая в его руке скрипку, поняла, что Ладо – так его звали – самый крутой парень на проспекте Руставели. Всю дорогу до дома мы хохотали. Протягивая мне скрипку, он сказал: знай, с сегодняшнего дня никто не посмеет обратиться к тебе



без почтения. И, улыбнувшись, ушел. Мной овладело чувство какой-то гордости. Я стала значительной персоной. Казалось, весь проспект Руставели принадлежит мне. Все мои желания от дома до консерватории и обратно исполнялись неукоснительно. Мороженое? Вода Лагидзе? Семечки? Цветы? Троллейбусный или автобусный билет? Однажды меня привезли домой даже в такси. А по воскресеньям я восседала в опере в ложе бенеуара. Позднее я узнала, что Ладо был сыном известного певца. Мы очень подружились с ним. Почти все друг другу рассказывали. Как-то он доверил мне тайну, которую я и сегодня не выдам. Я рассказала ему, как моя тетя при каждом стуке в дверь прятала у себя на груди пистолет моего отца, шепча при этом – все равно, кто это, хоть ангел смерти Микел Габриэл, хоть ЧК. Ладо долго смеялся и часто говорил после этого: береги тетины груди, Эка. Однажды он прибежал ко мне без кровинки в лице, выглядел как-то странно. Сказал: дай мне на время отцовский пистолет. Ничего плохого не думай, скоро верну. Мне было неприятно, но я не смогла отказать Ладо. Выкрала у тети пистолет и отдала ему. (Пауза) Он застрелился из этого пистолета... Прошел слух... (на мгновение задумывается и, словно очнувшись, продолжает) он кого-то проиграл в кости... Говорили и то, будто меня. Нет, нет, невозможно... Эта история потрясла меня. Я заперлась в четырех стенах, никого не хотела видеть. Во всем призналась тете. Вот беда-то, беда, – простонала она и умчала меня из Тбилиси в Москву, к своему, как она сама говорила, брату-вырожденцу. К счастью, мой дядя и его жена оказались замечательными людьми, делали все, чтобы вывести меня из шокового состояния. Водили в театры, Третьяковку, другие музеи, катали на речном пароходе,

брали на рыбалку и по грибы. Тетя часто звонила, интересовалась моим самочувствием. Я рассказывала ей, как меня балуют. “Похоже, исправились эти холодно-кровные”, — она меня ревновала к ним.

Несмотря ни на что, всем своим существом я стремилась в Тбилиси. Словно предчувствовала, что-то должно случиться, и случилось. (Пауза) В 1956 году в Тбилиси начались волнения. Молодежь вышла на улицы. Слухи дошли до Москвы. Я потеряла покой. Сердце рвалось в Тбилиси. Мне хотелось быть рядом со своими сверстниками. А тут и тетя перестала звонить. Дядя не отпускал меня, но понял, никакая сила не в состоянии удержать меня в Москве. И я уехала. Когда тетя увидела меня, от радости у нее заблестели глаза. Но прежде чем она опомнилась, я уже мчалась к памятнику вождю. Целую неделю я не появлялась дома. Тетя следовала за мной по пятам с бутербродами и теплым пледом. У памятника читали стихи, посвященные Сталину. “Что стоит тебе, о солнце, замереть на мгновенье и разделить с землею скорбь ее”. Помню, я с чувством читала стихотворение Нонешвили “Отец родной”, как вдруг раздались звуки выстрелов и крики. Что происходит? Что происходит? Куда они бегут? Почему трепыхаются на земле? Почему трава стала красной?.. Тетя! Тетя!!! Она хотела что-то сказать, но не успела... Пуля попала в самое сердце. (Пауза) “О время, смерть красой венчаешь ты, Ты скорбь больных сердец там исцеляешь...” Она думала о моем замужестве с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать, мечтала, чтобы я поскорее обзавелась семьей, хотела нянчить моих детей. То одному сватала, то другому. Приданое давно было готово. В месяц раз она проветривала его на солнце, смахивала пыль. Однажды взволнованная вернулась

с работы: – Эка, приготовься, мой новый начальник приглашает тебя сегодня в оперу на “Травиату”. Между прочим, солидный человек, к тому же неженатый. И, не дожидаясь моего ответа, добавила: откажешься, я тут же наложу на себя руки. Она смотрела на меня такими глазами, что я не смогла отказать ей. Главный нотариус тети слушал оперу в крайнем напряжении, ни разу не взглянул в мою сторону. Он вспомнил обо мне, когда опустился занавес, повернулся ко мне и сказал: – А Травиата, оказывается, была гулящей. Прощаясь, я попросила его сказать тете, что не понравилась ему. С тех пор в нашем доме имя нотариуса не вспоминали. (Лукаво улыбается) Искала себе зятя... Всю жизнь принесла мне в жертву. И сама стала жертвой человека, отравившего ей жизнь. (Пауза) – Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! (Звучит популярная в 60-е годы XX века песенка из репертуара оркестра Грузинского политехнического института. К Эке словно вернулась молодость, она поправляет прическу – В тот день девочки позвали меня со двора: – Эка, Эка, скорее, скорее выходи! В саду Гофилекта концерт ребят из ГПИ. Ах, какой был в те годы Тбилиси! А проспект Руставели! Мы назначали друг другу свидания у “Вод Лагидзе”. Каждый понедельник – “шатало” – шатались по улицам, пропускали лекции, ходили в кинотеатр “Руставели”, смотрели новые фильмы. Фильмы, “взятые в качестве трофея после разгрома немецко-фашистских оккупантов”. Какие только фильмы мы не смотрели! “Судьба солдата в Америке”, “Багдадский вор”. Когда я впервые увидела Роберта Тейлора в “Восьмом раунде”, я чуть не лишилась чувств. А Грета Гарбо, несравненная Гарбо! А Марика Рёкк!!! (Танцует и поет, подражая Марике Рёкк. Неожиданно останавливается и умолкает)



– В тот день я по обыкновению опаздывала на репетицию (хватает скрипку и бежит). – Простите... – Наши взгляды встретились. – Ничего, ничего, можете повторить! (Пауза) – Какие удивительные у вас глаза, – сказал ты мне и, улыбнувшись, убрал со лба небрежно упавшую прядь. Ты был неподражаем с этими огромными голубыми глазами. Я поняла, что отныне не принадлежу себе (скрипка падает у нее из рук, она быстро поднимает ее и прижимает к груди). День и ночь я думала о тебе. Все крутилась возле того места, где мы столкнулись друг с другом. А тебя все не было. Порой я спрашивала себя, не было ли это сном. Время шло. Как-то раз я с подругами оказалась в Клубе молодых ученых. Собралась масса народу. За спинами докладчика не было видно, я слышала только его голос. И вдруг что-то подсказало мне, что это ты. Это и был ты. Речь шла о Давид Гареджи. Ты показывал слайды, демонстрирующие, как русские военные уничтожают наши уникальные фрески. Тема Давид Гареджи была тогда очень актуальной. Все только об этом и говорили. Семинар закончился поздно. Народ уже расходился, когда ты крикнул на весь зал: кто мне переведет статью на французский?! – Я, – неожиданно вырвалось у меня. Ты взглянул на меня, подбежал, посмотрел прямо в глаза и спросил: – Как тебя зовут? – Эка. – А меня Ника. – Утром я занесу перевод. – Нет, я сам приду, – ответил ты и спросил мой адрес. В ту ночь я не сомкнула глаз, я ведь впервые переводила, очень хотелось, чтобы работа тебе понравилась. На другой день ты пришел, поцеловал меня в лоб, просмотрел перевод и сел за пианино. (Звучит отрывок из Второго концерта Рахманинова. Эка, застыв, стоит у стены) – Я историк, но учился в десятилетке для одаренных при консерватории, – сказал ты



944363730
www.mil.ru

мне. – А я закончила консерваторию. В какой школе ты учился? – В Первой, – сказал ты. – А я – в 5-й женской. – Ты улыбнулся и продолжал играть. Я поняла, ты был старше меня. Прервав игру, ты взял перевод. – Отличная работа! – Как, вы знаете французский? – удивилась я. – Это неважно, я чувствую, что перевод хороший, – ты поцеловал меня в лоб и уже с порога крикнул, – встретимся в шесть на ипподроме... Ты был так уверен, что я приду, что ушел, не дождавшись ответа. И был прав. (Эка безмерно счастлива) – Началась удивительная пора моей жизни. Все же сколько мы мотались по разным уголкам Грузии в дождь, снег или жару. Ты заставил полюбить твою профессию... У меня и сегодня стоят перед глазами Кветера, Лавра Давида Некреси, Тарибанская долина... Я понятия не имела об этих грузинских памятниках. Когда я подвернула ногу у Некреси, ты нес меня на руках. Тогда ты и сказал: так не умру, чтобы мы не объездили всю Грузию на машине. – Предпочитаю, чтобы ты носил меня на руках, – отозвалась я. Я приготовила тебе сюрприз. В один прекрасный день ты пришел, а дом почти пуст. – Ты что переезжаешь, Эка? – Выгляни в окно, видишь? – Этот “запорожец” стоит там целую вечность. – Он тебе не нравится? С сегодняшнего дня он наш. Сосед продал его мне, вернее, променял на антиквариат моей тетушки... Ты жутко разволновался. – Так легко ты рассталась с вещами тети?! Я успокоила тебя и сказала, что моя тетя поступила бы точно так же. Как, между прочим, и ты... Помнишь, как-то в витрине комиссионного я увидела красивую чашку и про себя проговорила: какая прелесть. На другой день ты преподнес мне эту чашку в подарок... А твои часы куда-то бесследно исчезли. Мы умели устраивать праздники друг другу. (Пауза. Достает из

сумки тщательно завернутую в бумагу чашку) Сегодня я была вынуждена отнести твой подарок на Сухой мост. Иного выхода не было. Она очень понравилась одному иностранцу. Я заговорила с ним по-французски, и он очень удивился. – Где вы научились такому хорошему французскому? – спросил он. – В Тбилиси, – ответила я. Он долго вертел чашку в руках, а потом вернул ее мне, будто почувствовал, как тяжело мне расставаться с ней. Если бы я продала ее, то смогла бы купить хлеб, свечи, бутылку керосина и маленький букетик фиалок. Тебе ведь было бы приятно! Будто ты их преподнес мне. Или выпила бы чашечку кофе в красивом кафе. Нет, кофе вызывает у меня сердцебиение. Чашку чая с пирожным (на лице у нее появляется выражение отчаяния). О каком пирожном я говорю, когда у меня нет денег на хлеб! (Освобождает чашку от бумаги. Не может поверить своим глазам – в руках у нее обломки. Она нежно касается их рукой. Будто губами ласкает. Вытерев слезы, низким голосом начинает читать нараспев “Циру”-Симона Чиковани) “Сети в клетях, гнезда в звездах, Цирино сердце бьется о воздух, лежит оно у нее на коленях, освободилось сердце от плена. Клетки – сети, звезды – гнезда, Цира, цитра, Цира, цукута, цугом, цунами...” – Мы ждали ребенка. Как мы были счастливы! Через неделю должны были венчаться в Джварском монастыре во Мцхета. Ты подарил мне свадебное платье. В тот день мы оказались на фуникулере, танцевали, смеялись, валяли дурака. Ты предупреждал меня: – Эка, осторожно, Эка, как бы с тобой ничего не случилось. – Ничего не случится, ничего! (Эка не в силах скрыть своего счастья, танцует. Неожиданно замирает. Отталкивает от себя незнакомого мужчину) – Потанцевать с вами? Но я не танцую, я не танцую, говорю!



(Пауза) Все было подстроено, подстроено, подстроено!
(Горько плачет) Сколько раз ты говорил: за мной следят. С моего стола в институте исчезло несколько слайдов Давид Гареджи. Кто бы тебе простил ту статью о Грузии, которую напечатали все газеты мира? Они хотели погубить тебя и погубили! Мужчина, что пристал ко мне: потанцуйте со мной, это был хорошо отрепетированный спектакль. Таким разъяренным я тебя никогда не видела. Как сумасшедший, ты подскочил к нему и врезал так, что он отлетел, как щепка. (Пауза) За попытку убийства тебе присудили четырнадцать лет. Я дневала и ночевала у дверей тюрьмы. Там я впервые встретилась с твоей матерью. Она подошла ко мне и сказала: – Почему ты погубила моего сына? – Через несколько месяцев твоя мама умерла. А тот тип выжил и прекрасно себя чувствует по сей день, его даже продвинули по службе. (Пауза) – В ту ночь, в ту страшную ночь какой-то незнакомец сообщил мне, что тебя переправляют куда-то с Навтлутского вокзала. Я бегала по путям... Ника! Ника! Никто не знал местонахождения тюремного вагона. (Слышен стук колес поезда) Неожиданно я обо что-то споткнулась, упала, а когда пришла в себя, надо мной стоял мужчина в белом халате. Я поняла, что попала в больницу. В глазах врача я увидела такую печаль, что мне все стало ясно. – Мой ребенок? – Вы еще молоды, детка, у вас все впереди, – сказал он. (Пауза) Осталась я одна-одинешенька. Четырнадцать лет, проведенные тобой в колонии, превратились для меня в четырнадцать веков. Письма возвращались нераспечатанными “без права переписки”. И все же я жила ожиданием. А как жил ты, я не представляю. (Берет одно из писем, начинает читать) – Пишу и не знаю, получишь ты это мое письмо или нет. Я люблю тебя, очень люблю.

Хотела приехать к тебе. Собиралась продать машину, но ее украли. Люблю тебя, люблю тебя! (Читает второе письмо) – После работы, как сумасшедшая, бегу домой, чтобы написать тебе. Когда отчаяние овладевает мной, мне помогает только мысль о тебе. Как я скучаю! Жутко боюсь, чтобы тебе не устроили какую-нибудь провокацию и не продлили срок заключения. Империя разваливается. Люблю, люблю, люблю! (Письмо падает из рук, она продолжает читать) – Случилась ужасная трагедия. В город вошли танки. Русские солдаты саперными лопатками убивали стариков, отравляли газом женщин. Твои друзья драпали, как трусливые зайцы. Как мне не хватает тебя. (Утирает слезы, читает следующее письмо) – Я пишу тебе, а над нашим домом пролетает вертолет с бомбой, висящей на веревке. Одному Богу известно, где она упадет. Я хочу к тебе! (Роняет письмо, продолжает читать) Ника, твоей Первой школы нет. Проспект Руставели в трауре. Тбилиси не узнать. В Абхазии началась война. Порой мне кажется, я рехнулась. Уже и на улице громко разговариваю с собой. Где ты, где ты, где ты? (Со слезами на глазах продолжает чтение) – Какой, оказывается, тяжкий груз – свобода! Грузия во мраке. Газ отключен, чай кипятим на костре, который разжигаем во дворе. Будь ты рядом, все можно было бы перенести. Оркестр из-за недостатка средств на грани распада. (Обводит взглядом валяющиеся на полу письма. Слышны звуки настраиваемых оркестрантами инструментов. Садится на стул, кладет скрипку на плечо) – Когда мы выступали, я всегда смотрела на ложу, в которой ты обычно сидел. (Настраивает скрипку) В тот день я по обыкновению бросила на нее взгляд. (Звучит Второй концерт Рахманинова) – Боже мой, как был похож на тебя седой мужчина в ложе!



Национальная библиотека
Республики Абхазия
010-11101033

Он не отрываясь смотрел на меня. Твои, твои голубые глаза! (Музыка звучит громче) – Ника! (Вскакивает со стула, замирает) – Что происходит, Ника, почему ты не дал знать о себе?! (В глазах ее изумление) – Но это был не мой Ника, а какой-то не известный мне мужчина. Еду в Абхазию воевать, – сказал он. – Конечно, конечно... (Пауза. К Эке приближается луч света)

Некрещенное дитя – Мама, мама...

Эка – Кто это? Кто?

Некрещенное дитя – Я твой ребенок.

Эка – Мой ребенок?

Некрещенное дитя – Да, твой ребенок. Помнишь, как мы бежали за поездом и перебегали через пути? Ты обо что-то споткнулась, и моя физическая жизнь закончилась.

Эка – Откуда ты все это знаешь?

Некрещенное дитя – Я твое некрещенное дитя, которое ты потеряла, мама. Души вселяются в нас в момент зачатия, и мы все чувствуем в утробе матери, будь то боль или радость. Если бы ты знала, мама, как мы боимся смерти!

Эка – Я ведь мечтала о ребенке, за что же я так наказана...

Некрещенное дитя – Такова воля Провидения. Знаешь, мама, как я люблю тебя, как скучаю по тебе, хочу все время быть с тобой.

Эка – Почему же ты оставил меня, сыночек?

Некрещенное дитя – Вот я и пришел.

Эка – За мной?

Некрещенное дитя – Давай потанцуем, мама.

Эка – Потанцуем?

Звучит танцевальная мелодия. Эка встает. Подходит к лучу. Начинает танцевать. Она выглядит растерянной.

Музыка прерывается. Луч гаснет. Эка чувствует боль в области живота. Подходит к зеркалу. Надевает плащ, повязывает голову платком, берет скрипку, вытирает с нее пыль.

— Десять лет, как я не играла на ней, уже и пальцы меня не слушаются. Я очень нуждаюсь, может быть купите ее. (На фоне уличного шума крепит скрипку под подбородком, но ее сгоняют с места. Она выбирает другое, но и оттуда ее гонят с угрозами. Она останавливается на сравнительно тихом углу улицы. Стоит со скрипкой в руках, никто не обращает на нее внимания. Тогда она взмахивает смычком и начинает играть свою любимую мелодию. Перед ней останавливается маленький мальчик с ломтем хлеба в руке. Эка опускает смычок, мальчик хлопает. Она с улыбкой протягивает ему скрипку) — Бери, не стесняйся. Пусть она будет твоей. (Отдает мальчику скрипку, прощается с ним. Потом прикрывает лицо платком и стоит с протянутой рукой в ожидании милостыни)

ЗАНАВЕС

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ

ПОЛЕМИКА

Мариам ЛОРДКИПАНИДЗЕ
Эдишер ХОШТАРИ-БРОССЕ

АБХАЗИЯ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

В “Литературной газете” от 10-16 июля 2002 года (№ 28-29) была опубликована статья Александра Рослякова “Здравствуй, Абхазия!”. Прочитав ее, невольно задаешь себе вопрос – что это – простодушная откровенность или излишние плохо скрываемой злобы по отношению к Грузии и грузинам? Последние в статье квалифицируются не иначе как враги, причем не только от лица Геннадия Никитченко, проживающего в Абхазии (кстати, он воевал в Абхазии и ему посвящена статья), но и от лица автора, хотя Росляков в военных действиях не участвовал и приехал в Абхазию недавно, видимо, не только для того, чтобы отведать восхваляемое им вино, но и заодно подлить масла в огонь, дабы обострить и без того крайне напряженную и запутанную ситуацию.

Что касается его объективности, в частности вполне правдивого описания полной разрухи и бедствия абхазов из-за чинимых российскими же чиновниками злоупотреблений и произвола, причем как на месте, так и в центре – в Москве, в государственных учреждениях и в самой Думе (называются и конкретные имена), то ее, скорее всего, можно объяснить не наивностью, а желанием показать, насколько опасно всякое послабление и отклонение от главной задачи – укрепиться в Абхазии, ведь недаром предостерегает Никитченко: “Места, не занятые нами, немедленно займет наш враг!” Но это

нужно делать с умом и осторожно, а не подобно депутату Думы Тихонову, захотевшему сразу захватить санаторий в Гаграх, когда прежде куда важнее, скажем, превратить жителей Абхазии в граждан России, чем собственно и занимается ныне Никитченко. Впрочем, о стремлении многих россиян отхватить кусок в Абхазии и довольно успешно говорят и многие другие факты. Враждебность же по отношению к Грузии, видимо, вызвана следующим убеждением: “Надо стремиться к воскрешению былой державной мощи СССР, Россия должна поддерживать своих друзей, а не заискивать перед врагами, лишь больше презирающими ее за это”... Это, так сказать, взгляд Тихонова и Никитченко, но, похоже, их разделяет и автор статьи Росляков.

В отличие от грузин абхазы ведь были за СССР, а теперь стремятся в РФ, следовательно, их и надо поддерживать как друзей, а не грузин...

Свое повествование Росляков начинает с истории, рассматривая Абхазию как “добровольно вошедшую в Российскую империю в 1810 году и насильственно отторгнутую в 90-е годы прошлого столетия”. А вот Геннадий Васильевич Никитченко “в июне 2002 года вернул России Абхазию”. Как видим, имперско-самодержавное отношение автора к Абхазии налицо! Абхазия не мыслится иначе, как российская собственность, которую у нее можно было “отнять”, а затем “вернуть”. Но, спрашивается, этого ли хотели и хотят абхазские сепаратисты? Как быть с их т.н. “независимостью” и “суверенитетом”? Впрочем, это проблема абхазов, а мы вернемся к истории. Действительно ли Абхазия “добровольно вошла” в состав Российской империи в 1810 году? Росляков, естественно, охотно повторяет сепаратистскую версию этого факта. Нисколь-

ко не интересуясь тем, что на самом деле вхождение Абхазии в состав Российской империи было одним из звеньев присоединения Грузии к России, начиная с 1801 г., когда было упразднено восточно-грузинское – Картл-Кахетинское царство, а затем в состав империи были включены и западно-грузинское – Имеретинское царство (1810 г.) и владетельные княжества – Мегрельское, Гурийское, Сванетское и Абхазское, в которых княжеская власть упразднялась постепенно, в частности в Абхазии – в 1864 г.

Что же касается “отторжения” Абхазии от России в 90-е годы прошлого столетия и ее “возвращения” России Геннадием Никитченко, то, учитывая факт пребывания Абхазии в составе Грузии не только исторически, хотя бы и после утраты последней собственной государственности (Абхазия входила в Кутаисскую губернию), но и при советской власти, в 90-е годы произошло отторжение Абхазии, но не от России, а от Грузии путем нарушения ее территориальной целостности и изгнания из Абхазии 300 тысяч ее жителей, среди них около 250 тысяч грузинского населения. А подготовка фактического отторжения Абхазии от Грузии началась гораздо раньше и особенно усилилась в хрущевско-суловские времена (60-70-е годы прошлого столетия), когда союзные власти, пользуясь благами здешних фешенебельных правительственных курортов, усиленно насаждали в Абхазии антигрузинские настроения под видом “борьбы” с наследием Сталина и Берия, внушая абхазам мысль об отделении Абхазии от Грузии и включении ее в состав Российской Федерации. А в т.н. “перестроечный” период, перед развалом СССР, чтобы сохранить свое влияние в республиках, Центр приложил все усилия к тому, чтобы противопоставить республикам их же

автономии, спровоцировав тем самым сепаратизм, в частности в Абхазии, в т.н. Южной Осетии, в Карабахе, в Приднестровье, результаты чего дают о себе знать и поныне. И, наконец, можно ли расценить иначе, как отторжение, прямую поддержку сепаратистского режима со стороны российских деструктивных сил – официально, главным образом, генералитета, а неофициально и правительства РФ, провоцирование войны с активным участием российских армейских частей, приведшей к нарушению территориальной целостности Грузии, поголовному изгнанию из Абхазии грузинского населения?

Росляков уверяет читателя, что абхазы, якобы начав войну, были вынуждены бороться за свое выживание: “Абхазский народ, оттолкнувшись от угрозы его истребления, стал поголовно героическим – почему и победил на той войне, которую начал почти что с голыми руками, хотя ему помогли другие – но было, кого выручать”.

В этой одной фразе, кроме единственной правды, что абхазы “начали войну”, несколько примеров явной фальсификации фактов с целью введения читателя в заблуждение. Начнем с того, что перед войной абхазский народ якобы “находился под угрозой его истребления”. В чем же это выражалось? На самом деле в Абхазии перед войной, при подстрекательстве из Центра (Москвы) и попустительстве со стороны грузинских республиканских властей, имел место разгул сепаратистских настроений и экстремизма. Сепаратистское движение “Айдгилара”, поддерживаемое другими националистическими организациями, организовало “сходы” абхазов, публичные обсуждения, направляемые в центральные высшие правительственные органы СССР коллективные обращения с требованием о выводе Абхазии из

состава Грузии и включении в Российскую Федерацию. Кроме устраиваемых абхазскими экстремистами кровавых стычек имело место поголовное изгнание из правительственных органов АО грузин, были факты их избияния, происходил фактический захват сепаратистами всех властных структур (вплоть до Верховного Совета АО). Наконец, была создана мононациональная “гвардия” при Ардзинбе. Все шло к тому, чтобы силой упрочить незаконно провозглашенную “независимость”, как только подвернется повод...

Повод, как известно, нашелся, и началась война.

Спрашивается, чем может доказать Росляков, что перед войной абхазскому народу грозило “истребление”, кроме как еще раз повторить набившие оскомину слова Каркарашвили, брошенные, кстати, по неопытности в пылу бравады, и уже после начала стрельбы со стороны абхазов по грузинским государственным военным подразделениям и фактического начала войны. Что войну начали сепаратисты, это факт, и, похоже, это признает и Росляков. Но насколько правдиво его утверждение, что абхазы начали войну “с голыми руками”? Сепаратисты начали вооружаться уже после июльских событий 1989 г. в Сухуми (разгром грузинской Первой школы и уличные кровопролития), собирая деньги и скупая оружие по всей России, не говоря уже о “конфискованном” у милиции вооружении, в первую очередь, для своей “гвардии”. А российские военные сепаратисты щедро снабжали их боевой техникой (как, впрочем, и грузин, чтобы грузины и абхазы лучше били друг друга). Что же касается тяжелого вооружения – танков, артиллерии и самолетов – то все это в массовом порядке было пущено в ход непосредственно кадровыми российскими военными после их активного включения

в войну против Грузии. Росляков скромно оговаривается, что абхазам, оказывается, “помогали другие” – “было кого выручать”! Эти “другие”, – российские военные части со всем тяжелым вооружением, “конфедераты” с Северного Кавказа – боевики “под флагом” созданной российскими службами специально для борьбы с Грузией т.н. “Конфедерации горских народов” со столицей в Сухуми, канувшей в небытие вскоре после “победы” сепаратистов и ничем не проявившей себя уже в чеченскую войну. Вот они-то, включая казаков и прочих наемников со всей России, и победили в войне, а не “абхазский народ”, как об этом пишет Росляков, уверяя, что все абхазы воевали против грузин, упуская из виду, что многие из них тоже оказались в роли беженцев! Недаром возникало сомнение – как могли 60 (или даже 80-90) тысяч абхазов “победить” пятимиллионную Грузию? Но вся суть в том, что конфликт между абхазами и грузинами был инспирирован извне, а война фактически была не абхазо-грузинской, а, скорее, российско-грузинской, Грузия потерпела в ней поражение не только благодаря российской военной мощи, но и т.н. “мирным переговорам” по инициативе России в Москве и в Сочи, в одностороннем порядке ослабляющим позиции грузин, вплоть до вывода из зоны военных действий тяжелого вооружения. Как будто бы Грузии не хватало внутренних проблем, гражданского противостояния, возникшего тоже не без участия заинтересованных сил в России!

Так, в результате именно того, что сепаратистам (а не “абхазскому народу”) “помогали”, “выручали” “другие”, была нарушена территориальная целостность Грузии, и 300 тысяч жителей Абхазии, среди них около 250 тысяч грузин, превратились в беженцев и насильственно перемещенных лиц!



Одно из самых “больных мест” для Рослякова (как и для самого Никитченко как нынешнего председателя Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии) – это пресловутая “блокада” Абхазии и судьба “блокадников”, из которых Росляков особо печется о “50-тысячной русской общине”, переживающей заодно с абхазами “послевоенную блокаду”. И все это ставится в вину Грузии: “Но и враг не дремал. Грузия, при всем демократическом витийстве Шеварднадзе, заняла относительно Абхазии классическую позицию собаки на сене. И сам не гам, и никому, пусть лучше умрет, не дам” – острит автор. Принятое Советом СНГ, и в том числе Россией, решение о блокаде сепаратистского режима, безусловно, в тягость оставшемуся в Абхазии населению. Но, спрашивается, возымела ли эта мера действие в отношении существующего режима? Конечно нет, и именно по той причине, о которой красноречиво говорит сам Росляков, т.е. благодаря сговорчивости российских крупных и мелких чиновников, легко убеждаемых канистрами (а то и более мелкой тарой) “сладкой абхазской изабеллы”, действующей – как утверждает Росляков – даже на уровне Госдумы и Департамента консульской службы МИДа России. И если этим же способом Никитченко “добился разрешения заниматься оформлением российского гражданства для абхазских жителей”, то куда легче оказалось преодоление “блокадных” преград! Хотя на этом и “грели руки” опять же чиновники в ущерб интересам простых людей. Но кто в этом виноват? Кто создал условия для введения блокады, кто ее ввел, или кто делает все, чтобы не были устранены причины блокады, – пособничая сепаратистскому режиму?! Наверняка можно сказать, что это не “грузинская сторона”.

Росляков печется о судьбе 50 тысяч русских, проживающих в Абхазии, обязывая российские власти проявлять о них заботу, но его не трогает участь 300 тысяч беженцев и насильственно перемещенных лиц, в подавляющем большинстве грузин, а также абхазов, русских, армян и др. Правда, он говорит "о трагическом исходе грузинских беженцев, попавшихся на отравленный крючок тбилисских наци: "Бей абхазов, спасай Абхазию!", но считает, что всем им пришлось покинуть Абхазию, опасаясь возмездия за указанный "клевок" на "клич", из-за которого и разгорелась вся бойня. Спрашивается, если бы 250 тысяч грузин, проживавших в Абхазии, поддались на клич – "Бей абхазов!", что стало бы с этими абхазами числом в 80 тысяч? Дело в том, что местные грузины и не собирались бить абхазов и не были готовы к войне, за что и поплатились, а бойня завязалась не столько между грузинами и абхазами, сколько между российскими военными частями, северокавказскими "добровольцами", казаками и разными наемниками со всей России, с одной стороны, и набранными по всей Грузии ополченцами и малым количеством резервистов, к которым и подключилась боеспособная часть местных грузин. Так что, изгнание из родных мест сотен тысяч грузин (причем самыми бесчеловечными, зверскими способами) считать как бы заслуженной карой за какой-то "клевок" – просто глумление над несчастьем людей. Более вопиющий факт нарушения прав человека, чем участь изгнанников из Абхазии, трудно сыскать в мире, несмотря на то, что подобные права являются предметом заботы всей международной общественности.

Кстати, каково отношение Рослякова вообще к международным правовым нормам и порядкам? Он высказывает недовольство тем, что "все референдумы в

Абхазии за присоединение к России обламывались о нормы мирового правопорядка” и, конечно, негодует по поводу чинимых некоторыми московскими чиновниками препятствий инициативе Никитченко самопроизвольно раздавать российское гражданство в Абхазии, что является явным нарушением таких правопорядков. Но нет границ восторгу Рослякова в связи с тем, что российские высшие власти вняли “убеждениям” Никитченко и разрешили “сделать российскими гражданами всех жителей Абхазии за один месяц, именно июнь 2002 года”. В статье это решение увязывается с именем Владимира Путина, но не скрывается неувязка его с “международным раскладом”. Тем не менее, это считается геройством, “победой России”! Автор так заканчивает свою статью: “Ну, а пока, может, действительно впервые за последние годы Россия, наконец, преодолев свой затянувшийся мандраж, отважилась на дерзкий, по всему международному раскладу, шаг – и вышла победительницей”.

Действительно, Грузия (т.е., согласно Рослякову, “враг” как абхазов, так и России) и на этот раз оказалась “побежденной”. Но факт и то, что международное сообщество, интегрироваться в которое стремится и Россия, вряд ли одобрит такое пренебрежение к “международному раскладу” – к “мировому правопорядку”, впрочем, России это, видимо, нипочем. Спрашивается, когда же, наконец, сама Россия сможет “преодолеть” не “затянувшийся мандраж” перед “международным раскладом” (это ей хорошо удастся), а свое имперское мышление, выйти на путь цивилизованных отношений с соседями и следовать элементарной логике – фактически не получая Абхазии, даже путем признания всех ее жителей российскими гражданами на территории,

считавшейся самой Россией неотъемлемой частью Грузии, перестанет отгалкивать от себя Грузию, постоянно “наказывая” ее за желание наконец-то стать самостоятельным государством – достойным, равноправным партнером той же России. Непонимание всего этого ничего хорошего не дает и не даст России. Способствуя консервации нынешнего положения в Абхазии, в значительной степени в ущерб самой себе (хотя бы перекрывая соединяющие Юг с Севером железнодорожные и шоссейные магистрали), не занимает ли Россия ту самую “классическую позицию собаки на сене”, в которой Росляков обвиняет Грузию, хотя с этим он, конечно, не согласится, т.к. Абхазию он мыслит и рассматривает уже как часть России, которую в 90-е годы от нее “отторгли”, а Никитченко ее “вернул”!

Как было отмечено выше, обращает внимание объективность, с которой Росляков описывает нынешнее состояние Абхазии – полная разруха, нищета и произвол, но в этом, по его мнению, виноваты не те, кто довел ее до такого состояния “победоносной войной” и пытается законсервировать такое положение бесконечными миротворческими “витийствами”, обеспечивающими военное присутствие в Абхазии, а опять-таки грузины, которые не хотят мириться с нарушением территориальной целостности страны, с изгнанием из Абхазии сотен тысяч ее коренных жителей...

Но ведь для Рослякова Абхазия немыслима вне России, что бы там ни творилось. Ему запала в душу проведенная в цитируемом им письме Никитченко к В.Путину мысль: “Абхазия – курортный рай, дружественная России страна – должна возродиться с помощью России!” Он охотно цитирует и слова главного винодела Абхазии Владимира Ачба, произнесенные – по опре-



делению самого Рослякова – как тост: “У нас природа, море, плодородие, курорты – только нет денег для возрождения. Абхазия только с Россией сможет подняться на ноги”. Конечно, для главного винодела Абхазии, сбывающего вино в Россию (невзирая на пресловутую блокаду!), нет другой мечты, как растворить Абхазию в российском рынке, и для него, конечно, неприемлема обещанная международным сообществом (и главным образом США) помощь в возрождении Абхазии, в случае разрешения конфликта.

Вряд ли вообще интересы Владимира Ачба совпадают с интересами рядовых абхазов, но, наверняка, у них не должно вызывать восторга, когда их Родину рассматривают как место, которое кто-то должен “занять”. А так именно смотрит на Абхазию ее “благодетель” Никитченко и пытается то же самое внушить В.Путину в своем письме: “Как известно, США, другие развитые страны мира вкладывают миллиарды долларов в привлечение зарубежных союзников. Россия же, руками своих чинуш, словно все делает, чтобы оттолкнуть реального союзника на одном из самых важных для нее направлений. Но абсолютно точно сказано: “Места, не занятые нами, немедленно займет наш враг!”

“Враг” здесь, конечно, это Грузия вместе с США и, видимо, с “другими развитыми странами мира”, т.е. вместе с друзьями Генерального секретаря ООН, среди которых числится и Россия! Но ни одна из этих стран не рассматривает Абхазию как “место”, которое нужно “занять”. Исторически Абхазия была и есть неотъемлемая часть Грузии, как бы ни старались сепаратисты и их приспешники открещиваться от этой истины.

А что касается приведенного “наставления”

Никитченко В. Путину, вряд ли оно ему пригодилось бы, так как кому, как не ему, надлежит знать, кто для России является “реальным союзником на одном из самых важных для нее направлений” и кого действительно не следует отталкивать, тем более, если иметь в виду Грузию, что здесь России нет необходимости тратить миллиарды рублей, а достаточно установить с ней честные, добрососедские, партнерские и традиционно дружеские отношения, к чему стремится и Грузия, еще в 1994 году подписавшая рамочный договор (отклоненный Госдумой РФ). А ее “западная” ориентация, опять-таки, во многом зависит от того, до каких пор будет “наказывать” ее северный сосед, а также – насколько глубоко интегрируется сама Россия в западные структуры, преодолевая препятствия, чинимые деструктивными силами.

Что же касается абхазов, им вряд ли по душе высказывание главы старейшин Абхазии Павла Ардзинба: “Россия – это наша Родина”, так же, как и позиция винодела Владимира Ачба: “Произошло самое лучшее – российское гражданство”. Нелишне напомнить судьбу тех же убыхов, да и некоторых других северокавказских народов, в лоне России почти утративших свою культуру и язык, и, чтобы сохранить их элементы, искавших поддержку именно среди грузинских ученых-кавказоведов (А.Чикобава, В.Топурия и др.), деятелей культуры, кинорежиссеров и т.п. Абхазская же культура, вопреки заявлениям абхазских сепаратистов и их приспешников извне, утверждающих, что грузины чуть ли не уничтожили ее, сохранилась именно благодаря пребыванию Абхазии в составе Грузии, о чем свидетельствует ознакомление хотя бы с соответствующими параграфами главы – “Культура



Абхазии в советское время” в книге: “История Абхазии. Учебное пособие, Сухум, 1991: 1. Абхазский язык, 2. Абхазская литература, 3. Хореография, 4. Абхазский театр, 5. Изобразительное искусство, 6. Музыкальная культура (стр. 370-401). В этих параграфах, кроме как об успехах в данных отраслях, не говорится ничего об уничтожении абхазской культуры или литературы.

Правда, в учебнике сказано о притеснениях абхазов в советский период, но, кроме указания на грузинское происхождение Сталина и Берия, в подтверждение того, что абхазы в советское время притеснялись более, чем другие нации, хотя бы те же грузины, не приводится ничего серьезного, и если действительно в конце 40-х и начале 50-х годов прошлого столетия, в частности в Абхазии, проводилась ущемляющая национальные интересы абхазов политика, то в то же время в Центре было состряпано против Грузии т.н. “мегрельское дело”, а до того (в 1951 г.) в Среднюю Азию были выселены тысячи жителей из Тбилиси и других регионов Грузии по признаку связей с заграницей. Но подобным репрессиям вскоре был положен конец развенчанием культа Сталина и уничтожением Берия. О скором изменении подобной ситуации в Абхазии свидетельствует и то, что перед началом войны (в 70-80-х годах), кроме всех других благ – привилегированных квот в правительственных инстанциях, в области экономики и пр., абхазы имели свое телевидение, свой университет. Остальные вузы, театр и свое издательство, научно-исследовательские институты и др. существовали здесь и раньше. Так что разговор об “угрозе культуре” и “выживании” абхазов в это время – лишь провокация. Только одни издания в Тбилиси и Сухуми, под грифом Академии наук Грузии, исследования по языку, литера-

туре, истории, археологии, этнографии абхазов до начала 90-х годов составляют не одну сотню названий.

Росляков приводит слова Павла Ардзинба, что его никто не заставлял учить русский язык, а грузинский заставляли. Но, если это так, то почему, по данным переписи населения 1989 г., грузинским владели 1,6 процента проживающих в АР абхазов, а русским – 81,5 процента. Дело в том, что заставлять учить русский язык не было необходимости, т.к. и без того шел интенсивный процесс обрусения, со всеми отрицательными последствиями проявивший себя на Северном Кавказе. В этой связи нелишне привести слова Председателя Верховного Совета Северо-Осетинской АР А.Галазова (позднее президента Республики Северная Осетия-Алания): “Мне всегда искренне жаль молодых людей моей национальности, когда, несмотря на знание иностранных языков и мировой цивилизации, они чувствуют себя неуютно дома в силу незнания элементарных основ осетинской культуры. Национальную молодежь, к примеру, лишили ее родного языка. До прошлого года в Северной Осетии фактически не было ни одной школы с осетинским языком обучения” (Газ. “Правда”, 11 ноября 1989 г.).

Здесь же следует отметить, что на Северном Кавказе и в других автономиях РСФСР – Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Чечено-Ингушетии, Адыгее и Карачаево-Черкесии в то время не было ни одной национальной школы.

Вот что ожидало, примерно, и Абхазию, если бы она не находилась в составе Грузии, вместе с ней. Какова же была реальная картина в этом отношении в Абхазии?

На начало 1989-1990 учебного года в Абхазской автономной республике функционировали 73 абхазские и смешанные (абхазский сектор при других школах)

общеобразовательные школы, где, кстати, грузинский язык вовсе не преподавался, несмотря на то, что по Конституции считался, вместе с абхазским, государственным языком!

После всего вышесказанного спрашивается, были ли у абхазов причины затевать вражду с грузинами и начинать войну, если бы не подстрекательство извне и амбиции сепаратистских лидеров, которые и “клянули” на посулы великодержавных “благожелателей”, но получили только разруху и бесперспективные мечты о “независимости”, и реально в перспективе только отказ от своей Родины. С этим абхазский народ ни за что не согласится, разобравшись наконец, что сулит ему “российское гражданство”, дающее сиюминутные выгоды, но подразумевающее в будущем превращение Абхазии в курортный придаток огромной России, где не только Павел Ардзинба будет считать, что “Россия – это наша Родина”, а ВСЕ абхазы будут вынуждены согласиться с этим, ибо российское гражданство предусматривается для них ВСЕХ. А это ли не конец абхазскому народу? То, что не произошло в советское время, благодаря пребыванию Абхазии в составе Грузии, осуществится в будущем.

Пора понять абхазам, что, когда говорим (и пишем) “Абхазия – это Грузия”, подразумевается историческая общность народов, а когда говорим – “Абхазия – это Россия” (и Россия выдается за “Родину абхазов”), от абхазов фактически остается только название, и кем они станут в будущем, лишь Богу известно. Одно ясно – спрос с “маленькой” Грузии со стороны мирового сообщества за судьбу проживающих на ее территории малых народов либо национальных меньшинств гораздо суровей, чем с “большой” России, чему и соответствует степень их от-

ветственности перед самими этими народами и меньшинствами. Об этом свидетельствуют и события последних лет, хотя бы на Северном Кавказе, из которых нелишне сделать выводы.

И, наконец, интересной является сама личность Александра Рослякова – кто он есть? Биография его нам неизвестна, но, судя по его публикации, – это русский человек, мыслящий, как и многие его соотечественники, по старинке, не только по-советски, но по-имперски, мечтающий о возрождении “былой державной мощи СССР”, когда Абхазия, и не только она, рассматривалась фактически как российская провинция.

При этом, видимо, Росляков один из незаурядных журналистов, поскольку “Литературная газета” предоставила ему целую страницу, наверное, не только из-за явно антигрузинской великодержавной его статьи. Но, похоже, особой дальновидностью он не отличается, т.к. в качестве стратегического партнера России отдает предпочтение Абхазии, а не Грузии вместе с Абхазией. Грузия же враг, с которым следует обращаться по-вражески. Причем остается непонятным, чем не угодила ему Грузия, отстаивающая свою территориальную целостность, признаваемую самой Россией! Если бы это была позиция не его, а только Никитченко, то это можно было бы понять, поскольку последний воевал и притом пережил личную трагедию, а что озлобило и настроило против грузин Рослякова, непонятно. Ведь среди русских немало друзей и почитателей Грузии и грузин, причем много видных деятелей, в любви которых к России нельзя усомниться. И разве это ничего не значит?

Слава Богу, что в России действительно есть люди, мыслящие иначе, чем Росляков.

Мы же, со своей стороны, посоветовали бы Алексан-



дру Рослякову как журналисту взять пример с его коллег
– Андрея Черкизова, считающего, что для общего блага
следует “России быть честной, а Грузии – спокойной”
(см. газ. “Свободная Грузия”, 18 декабря 1999 г.). Ведь
от честности России зависит спокойствие не только
Грузии, но и всего Кавказа!

P.S. Учитывая все сказанное, а также события послед-
него времени – бесконечные военные провокации в
Кодорском ущелье, в других приграничных с Россией
районах и особенно варварскую бомбежку территории
Грузии 23 августа с.г., приведшую к человеческим
жертвам, квалифицированную как факт агрессии против
суверенного государства, наконец, заявление Владимира
Путина 11 сентября, создается впечатление, что в России
делается все, чтобы углубить конфронтацию с Грузией,
сорвать или бесконечно затянуть заключение рамочного
дружественного договора и тем самым сохранить “ста-
тус-кво” в Абхазии и т.н. Южной Осетии. Видимо, кого-
то в России все это устраивает – одних в корыстных
целях, других из-за озлобления в отношении Грузии в
связи с ее “прозападной” политикой, фактически с
начала же обусловленной позицией самой России. И не
последнюю роль играют великодержавные, имперские
амбиции не только некоторых военных, но и высших
чиновников. Об этом говорит, например, выступление
Вадима Печенева, профессора, действительного госу-
дарственного советника РФ 1-го класса в “Парламен-
тской газете” (16.05.02 – перепечатка в газ. “Республика
Абхазия” № 57, 25-26 мая 2002 г.), прямо заявившего,
что в результате помощи США (которую он называет:
“военным проникновением США в Грузию”) Грузии,
якобы, “сжимаются исторически завоеванные Россией
позиции на Кавказе” и что “шум о предстоящей грузино-
американской операции в Панкисском ущелье – это, судя

по всему, всего лишь тактический ход, отвлекающий общественность от подготовки войны с абхазами”. Российские государственные советники никак не поймут, что руководство Грузии никого не собирается вмешивать в наведение порядка в Панкисском ущелье и, уж конечно, не намерено воевать с абхазами, придерживаясь только политических методов решения конфликта, тем более, если в этом ей поможет и Россия!

Если бы подобные амбициозные настроения были в России общими, это означало бы катастрофу, однако несколько обнадеживающе на общем фоне “крестового похода” российской массмедиа против Грузии звучат некоторые публикации, свидетельствующие, что люди с трезвым разумом среди российских политиков не перевелись. Радуют, например, выступление в “Независимой газете” (7 августа 2002 г.) сопредседателя партии “Либеральная Россия” Сергея Юшенкова и “Заявление” этой же партии “О российско-грузинских отношениях”, где недвусмысленно сказано, что высказывания некоторых российских политиков (например, спикера Совета федерации Сергея Миронова и главы Комитета по международным делам верхней палаты парламента Михаила Маргелова) о возможном введении российских войск на территорию Грузии вызваны желанием свалить неудачи в Чечне на официальное грузинское руководство. И если бы не оно, российскими генералами уже давно были бы разбиты чеченские боевики... С.Юшенков считает, что призывы к вводу российских войск в Панкисское ущелье “могут быть истолкованы как подстрекательство к боевым действиям на территории Грузии”, т.е. “призывы к войне”, и поэтому он же заключает: “Мне кажется, головы некоторых российских политиков и генералов нужно остудить”.

В публикации под заголовком “Кто потерял Грузию?”



Александр Багатуров, доктор политических наук, профессор, заместитель директора Института США и Канады РАН, касаясь российско-грузинских отношений за последний десяток лет, и в частности решения абхазской проблемы, отмечает: “Россия поддерживала Абхазию против Грузии. Думаю, это было крупным просчетом” и в заключение пишет следующее: “С точки зрения интересов России поддержка Грузии в отстаиваемом ею варианте примирения в Абхазии в рамках единого федерального государства при сохранении широкой автономии абхазской составляющей является разумной ценой согласия Тбилиси сотрудничать с Россией против чеченских сепаратистов... Потеря Грузии как дружественного партнера по кавказской политике – серьезнейшее препятствие для возвращения Чечни в лоно Российского государства и укрепления позиций России на Кавказе в целом”.

Нужно надеяться, что именно эти позиции (а не “советы” В.Печенева и иже с ним) окажут свое воздействие на высшее руководство России, порою вынужденное уступать давлению стоящих на иных позициях сил (введение “визового режима”, предоставление гражданства РФ “ВСЕМ жителям Абхазии”, не говоря уже о провокационных военных акциях в приграничных районах и т.д.). Такими способами, конечно, “былой державной мощи СССР” не воскресить и “исторически завоеванные позиции на Кавказе” России не удержать, имперские амбиции могут нанести серьезный ущерб реальным геополитическим интересам России на Кавказе, свидетелями чего мы по существу и являем



ПО ПОВОДУ “ДЕЛА” О ПОДДЕЛКАХ ГРУЗИНСКИХ ЭМАЛЕЙ

Статья ведущего научного сотрудника государственного Музея искусств Грузии Н.Беручашвили “Об истории перегородчатых эмалей из коллекции М.Боткина в государственном Музее искусств Грузии”, напечатанная в сборнике статей государственного Эрмитажа (“Ювелирное искусство и материальная культура”, С.-Петербург, 2001, с.218-233), на мой взгляд, не достигла цели, которую поставила перед собой автор. Это и понятно, так как Н.Беручашвили не является ни специалистом в этой области искусства, ни мастером-ювелиром, занимающимся творческим процессом эмалирования. И тем не менее, ее интерес к “делу” о подделках грузинских эмалей, находящихся в свое время в коллекции М.Боткина (и не только ее интерес), подтолкнул ее заняться “неразрешенными”, по ее мнению, вопросами, чтобы заполнить пробел, оставленный в изучении этой области искусства такими учеными, как Н.П.Кондаков и Ш.Я.Амиранашвили. Кстати, о Н.П.Кондакове. Находя логическую связь между кражами в грузинских храмах и монастырях и фактом подделок выкраденных произведений, Н.Беручашвили привлекает и Н.П.Кондакова, который, естественно, знал об этих кражах. Но о них знали все. И большое спасибо Н.Беручашвили, что она не считает ученого трусливым сокрывателем “преступных” действий похитителей, хотя и подобное мнение выносится на обсуждение. К тому же, как выясняется из весьма сомнительных сведений, а к ним я отношу архив Ф.Бирбаума, разговор о филигранщике Попове, который,

по его словам, работал конспиративно на Сабин-Гуса, и тому подобное, Н.П.Кондаков был в курсе основных событий, да и не мог не быть в силу своего положения и авторитета. Он должен был знать и о японских мастерах. Однако все эти факты никакого отражения в его трудах не нашли. Ничего конкретного о подделках грузинских эмалей не было сказано и другими учеными (Г.Н.Чубинашвили, Ш.Я.Амиранашвили и даже А.В.Банк, на которую ссылается автор /мягко говоря, неточно/). Никаких доказательств, подтверждающих слухи о подделках в коллекции М.П.Боткина, нет и у М.Лазовича, который отмечал, что иные склонны принимать их за подделки, а другие считают их подлинными. Да и доводы Ф.Бирбаума, оказавшегося авторитетом для нашего неискушенного автора, настолько некомпетентны, что явно рождают недоверие к нему. Итак:

1. Как может насторожить человека, мало-мальски имеющего отношение к перегородчатым эмалям, прекрасная сохранность многих из них – Ф.Бирбаум считает это маловероятным с учетом их многовекового существования? На самом деле, в этом и заключается специфика и неувядаемая красота перегородчатых эмалей по сравнению хотя бы с живописью.

2. “Произвольный, а не характерный для эмалей рисунок трещин”. В чем выражается произвольность рисунка трещин и разве можно получить вследствие обжига не произвольный, а определенный рисунок, который якобы является характерным для эмалей?

3. “Некоторая сухость в исполнении клуазонне, свидетельствующая не о византийских, а современных и даже русских филигранщиках”. Что за такая сухость “византийская” и сухость “современная и даже русская”, и в чем она выражается? Знатоку византийской перего-

родчатой эмали XI-XII вв., периода ее расцвета, наверняка, известно, что она отличается именно рафинированной сухостью и строгостью закономерного рисунка. Подобные рассуждения Ф.Бирбаума не могут не внести сомнения в его дальнейшие утверждения, тем более, что сама Н.Беручашвили в заключении статьи говорит о его ошибках, а также ошибках филигранщика Попова, который представлен как один из главных исполнителей подделок. А ведь “согласно документам Ф.Бирбаума”, заключает Н.Беручашвили, две пластины с изображениями св.Георгия, хранящиеся в государственном Музее искусств Грузии, “являются артефактами XX в. – они сделаны в 1908 г.”. В этом – и весь пафос “труда”, который состоит из нагромождения подобных, не внушающих доверия документов, привлечения косвенных сведений о расхищении грузинских храмов и монастырей, а также попытки найти хоть какое-то научное обоснование главной тезе автора. И даже портрет М.П.Боткина, который, по словам Н.Беручашвили, своей коллекцией создал себе нерукотворный памятник, с его “не очень лестной характеристикой” преследует определенную цель – вызвать полное недоверие к его личности.

Еще более красноречивым является тенденциозное цитирование А.В.Банк, где вырванные из разных контекстов части объединяются в одно предложение, получившее желаемое автором звучание, т.е. эмали собрания государственного Музея искусств Грузии были окружены подделками. Привожу цитату А.В.Банк по варианту Н.Беручашвили: “Богатейшее собрание грузинских и византийских эмалей в Музее искусств Тбилиси... происходящие из церковных сокровищ собственно Грузии и Сванетии, куда они стекались в



საქართველოს
რესპუბლიკის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

средние века вместе с произведениями византийского искусства... иногда... были окружены подделками”, которые “...почти всегда соседствовали с произведениями иного круга и эпохи”. На самом же деле, А.В.Банк в своей книге “Византийское искусство в собраниях Советского Союза” (Л., 1966 г.), перечисляя местонахождение византийских памятников, просто констатирует факт о богатейшем собрании грузинских и византийских эмалей в нашем музее (с.6). На странице же 8 говорит о частных коллекциях: “...Многие византийские памятники принадлежали частным лицам (М.П.Боткину, Г.С. и П.С.Строгановым, П.П.Шувалову, Б.И. и В.Н.Ханенко и др.)... иногда они были окружены подделками, почти всегда соседствовали с произведениями совсем иного круга и эпохи”. Конкретно о грузинской коллекции здесь и речи нет. Зачем нужна была такая подтасовка фактов, предоставляю судить читателю. На этом можно было бы поставить точку, однако я продолжу.

На чем основаны подозрения самой Н.Беручашвили в подлинности пластин (а не дробниц, как она их называет, будучи определенно несведущей в таких дефинициях – дробницей не может быть названа также пластина с изображением Михаила VII Дуки и его жены Марии на Хахульском складне) св.Георгия из государственного Музея искусств Грузии?

1. Впервые св.Георгий изображен на белом коне. Н.Беручашвили считает, что такое изображение (точнее, белый конь) не характерно для ранней грузинской иконографии. Среди перечисленных ею же грузинских фресок XI-XII вв. хочу выделить те памятники, на которых конь св.Георгия белый и не условно, как отмечает Н.Беручашвили, а реально, в своем основном тоне – Адиши (рубеж XI-XII вв.), Павниси (третья

четверть XII в.), Бочорма (XII в.). Их проработка сероватыми или зеленоватыми тонами – это специфика живописной моделировки в росписях, которая в данном случае абсолютно не меняет главной тональности цвета. Даже в самой живописи, например, в Тангиле (XIII в.) белый цвет коня св.Георгия не тронут проработкой, хотя грязноватый налет от времени, естественно, присутствует и здесь, как и в других памятниках монументальной живописи. Белым изображен конь св.Георгия в росписях Кураши (XII в.), Ачи (к. XIII в.), а также на клеймах живописной иконы из Убиси (XIV в.). А в росписи Лаштхвер (к. XIV-XV вв.) белизна коня св.Георгия особенно бросается в глаза после расчистки живописи. Вот в Ипрари и Накипари (XI-XII вв.) конь святого серый в яблоках, хотя и здесь условно он подразумевается белым. Таким образом, традиция изображения белого коня св.Георгия существовала в Грузии с довольно раннего времени. Грузинским мастерам также было известно иконографическое соответствие белого коня с представлением св.Георгия-триумфатора, победившего дракона или змия. Так что в перегородчатой эмали, исходя из ее специфики, в частности установки на локальность цветов, изображение коня чисто белым выглядит вполне естественным. И если в связи с вышеупомянутыми перегородчатými эмалями хоть в какой-то степени здесь можно говорить о русской иконописи, в данном случае, определенных русских иконах с изображением конного св.Георгия, то только в плане локальности их цветов – вспомним слова В.Н.Лазарева о русском иконописце, для которого “краска была... не менее драгоценна, чем смальта. Он упивался красотой ее чистых беспримесных цветов...” (В.Н.Лазарев, Русская иконопись, М., 1983, стр.24). Здесь есть и должно

быть совпадение в иконографии и в локальности цвета. Но это отнюдь не означает, что грузинские изображения были созданы под влиянием русских икон.

Ответы на последующие положения Н.Беручашвили о том, что впервые в этом виде прикладного искусства представлены конный св.Георгий-драконоборец и “Чудо с царевной”, опять-таки следует искать в специфике изображений перегородчатой эмали. Надо сказать, что по сравнению с медальонами или пластинами с изображениями Христа, Богоматери и святых, сцены вообще являются более редкими в этом виде искусства. А изображений конного св.Георгия в эмалевых произведениях других стран, кроме Грузии, не встречается. Наличие этих изображений именно в Грузии еще раз свидетельствует об особом почитании святого в нашей стране (подробно см. Е.Л.Привалова, Павниси, Тбилиси, 1977, стр. 62-63). Если говорить об единичности грузинских пластин св.Георгия в перегородчатых эмалях, разве не уникальна пластина с Успением Богоматери (руб. XII-XIII вв.) из коллекции Абегга в Швейцарии, в которой дан редкий иконографический извод с Авфонией? Оригинальна и сцена Успения Богоматери с изображениями апостолов на облаках (XIII в.) на Корцхельской иконе. А разве повторяется в каких-либо других перегородчатых эмалях сцена Рождества Богоматери на этой же иконе? Нигде не встречается и сюжет ониксовой патины из коллекции Думбартон Окса (Вашингтон), X века, на которой представлена сцена “Тайной Вечери”.

И еще. Н.Беручашвили пишет, что впервые после фрагментов образа Хахульской Богоматери эмаль, да еще белая, занимает такую большую плоскость и не фиксируется перегородками. На утерянной пластине “Въезд в Иерусалим” из цикла Двенадцать Праздников Христа

(руб. XII-XIII вв.) довольно крупная ослица также передана сплошной белой эмалью и также содержит и поры, и трещины (насколько позволяют судить иллюстрации). Сплошной белой эмалью покрыт конь волхва, правда, меньших размеров, в сцене Рождества из этого же цикла. Так что применение большой плоскости, в основном, без фиксирования перегородок, в случае наших платин имеет свою историю.

Неправильно интерпретирована автором моя мысль об отношении Хонской чеканной иконы XVII в. к эмалевой пластине “Чудо св.Георгия с царевной”. Хонскую икону я вовсе не считаю образцом для упомянутой эмали, как это приписывает мне Н.Беручашвили, а полагаю, что у этих произведений мог быть общий образец, и этот образец должен быть более поздним, чем образец для сцены св.Георгия-драконоборца. Автор без комментариев приводит мнение сербского ученого Петковича, который принимает за образец для пластины Георгия-драконоборца критскую икону св.Георгия. Какие же произведения, по мнению Н.Беручашвили, считать образцами для этих эмалей – русские, критскую или хонскую, т.е. грузинские иконы? Или же все они образцы для артефакта, созданного в мастерской не то Сабин-Гуса, не то Петрова, в которой в течение 20-25 лет делались подделки перегородчатых эмалей, да так, что общественность об этом не знала?

Никакой критики не выдерживают рассуждения Н.Беручашвили о том, что “...волнистые штриховые линии на шее и бедре (коня св.Георгия в “Чуде с царевной” – прим. мое) напоминают ретушёвку теневых сторон (чеканного Хонского Георгия – прим. мое). Причем здесь ретушёвка? Получается, что эмальер работал по фото, да еще и ретушированному? И это какой же эмальер,

создатель артефакта? Он был знаком также с Хонской иконой Георгия, а может быть, и имел ее под рукой? А если поддельщик это делал по оригиналу эмали, то два таких зигзага вполне вписываются в один из приемов при покрытии большой плоскости одним цветом эмали и служат скорее для укрепления эмали (на подобные приемы часто указывают и специалисты и, в частности Б.Рыбаков – см. Ремесло древней Руси, Москва, 1948, с.380). Ни о какой теневой моделировке здесь и речи быть не может. Так что и в данном случае преднамеренность направленности мысли автора вполне очевидна. И уж совершенно несерьезным кажется наложение рисунков Хонской иконы и пластины “Чуда с царевной” друг на друга, тем более, что неточность исполнения рисунка и здесь должна определяться преднамеренным или случайным искажением отдельных деталей. Схожесть этих произведений и так очевидна, но это имеет свое объяснение (предполагается общность образца) и никак не может служить для подтверждения подделки эмали. И вообще, никакие колебания в отношении даты вышеупомянутых эмалей – ни Петковича, относящего пластину с Георгием-драконоборцем к нач. XVI в., ни моя осторожность в определении даты и даже ни мнение Ш.Амиранашвили, придерживающегося вначале более раннего, XIV века, не могут служить основанием для утверждения, что эти эмали фальсифицированы – они касаются лишь уточнения времени их создания. Легкость, с которой Н.Беручашвили берется за квалификацию подлинности эмалей, простодушно проступает в том беспелляционном заявлении, которое она делает в отношении джуматских медальонов иконы архангела Михаила – они, оказывается, подлинные. На чем же основана ее убежденность в подлинности этих эмалей? Не на том

ли, что одна из них, а именно медальон с изображением св.Георгия, хранится в государственном Эрмитаже и, возможно, автор знает или предполагает, что там его подвергли специальному техническому анализу? И по какой причине Н.Беручашвили не верит своему главному авторитету, Ф.Бирбауму, который именно в этих медальонах видит "...первые опыты мастера-любителя"? Не верит и тому, что "клуазонне медальонов с иконы архангела Гавриила мастер Попов признает в качестве своей работы". Но почему? Наивно судить о подлинности медальонов иконы архангела Михаила по "прижизненным", как называет их автор, отпечаткам фотографий и их сравнению с уцелевшими так же, как совершенно необоснованно говорить об импровизациях (разумеется, фальсифицированных) на тему джуматских медальонов (автор имеет в виду, очевидно, родственные им медальоны в мадридском и киевском музеях) только потому, что они проявляют огромное сходство с произведениями их круга по "композиции, контуру, стилю декоративного убранства нимбов, плащей, гиматиев" и т.д. Но точно по этим же признакам схожи они и с целым рядом византийских медальонов XII в., представленных на Пала д'Оро (В.Фольбах также приводит их в параллель к джуматским – см. W.Volbach, *Gli smalti della Pala d'oro*, с.56, табл. LIV – 120, 121, 122).

Таким образом, "неразрешенные вопросы", оставленные без ответа крупными и не крупными учеными и так беспокоящие Н.Беручашвили, так и остались неразрешенными. Я считаю, что вся правда заключена в предпоследнем заключительном абзаце этой статьи: "В заключение хочу отметить, – пишет автор, – что в своих выводах безоговорочно опираться на документы Ф.Бирбаума нельзя. В некоторых случаях он сам ошибался, так



же как и мастер Попов. Необходимо выработать четкий метод с учетом современных технологических возможностей в определении подлинности эмалей, поскольку ни визуальный, ни стилистический анализ до конца этот вопрос не разрешит". Я считаю, что только такой метод, примененный в каждом отдельном случае – ведь мы имеем дело с истинно художественными произведениями, признанными как таковыми на протяжении долгого времени не одним большим профессионалом в этой области искусства – может дать обоснованный и компетентный ответ на интересующий автора этой статьи вопрос. В ином случае все попытки будут тщетны, несправедливы и даже оскорбительны в отношении тех или иных художественных творений, а также в отношении той культуры, к которой они относятся. Может быть, это, но еще в большей степени определенная целенаправленность статьи, которая никак не может ускользнуть от читателя, и побудили меня отреагировать на нее.



Ростом ЧХЕИДЗЕ

ИСТОКИ ИСКРЕННОСТИ

Дождь наводит грусть.

Быть может, не для всех, но для большинства шум дождя – грустная мелодия, то тихая, то оглушающая, то подобная непрекращающемуся рыданию.

А грусть приводит с собой дорогие призраки – безмолвные, но с выразительными лицами, и они всегда напоминают о чем-то таком, что заставляет сердце чаще биться.

Нынче дождь только-только перестал, редкая капля одна за другой нарушает тишину, и медленно тает призрак Тамаза Бибилури. Он предстает предо мной в ливень и грозу не единственно из-за упомянутой закономерности, но в большей степени из-за своей особой любви к дождю и снегу, которая лейтмотивом проходит через его роман “Время повелителя”.

Там постоянно идет дождь или снег.

Закончится пронизанная бурными страстями сцена, и сразу пойдет дождь.

Закончится пронизанная бурными страстями сцена, и сразу посыпятся снежные хлопья.

Это, разумеется, не только деталь пейзажа. Природные явления приобретают у Тамаза Бибилури символическое значение, они как небесная милость, которая порой должна утихомирить человеческие страсти, напомнить о том, что есть на свете нечто более возвышенное – непостижимая красота.



Тамаз любил затаив дыхание глядеть на дождь. Ему, погруженному в собственные думы, этот водяной занавес, действительно небесная милость, похоже, доставлял истинную отраду.

Он любил бродить и в дождь, и после дождя, любил так сильно, что в момент острого переживания мог во всех подробностях воссоздать картину того, как шел он по промокнутому насквозь осеннему лесу.

Сразу это не ощущалось, но было в нем необычное обаяние, он обладал романтическим стремлением, столь редким в нынешнем нашем однообразном и безрадостном быте.

Если в поле моего зрения кто-либо и олицетворял неуклонность романтического духа, так это был Тамаз Бибилури.

И хотя толстокожая и грубая окружающая нас действительность упрямо пытается убедить романтиков, что они тщетно ждут какого-то чуда, необычной искры, способной озарить тоскливые, сумрачные дни, все равно не гаснет их вера в неповторимую красоту и величие человека, не исчезает их способность узревать в трагическом поэтическое начало.

Сама эта вера — чудо, которое как бы огнивом из кремня способно высечь из каждодневности возвышенные искры и показать тебе и небо, и землю такими, какими их видит незатуманенный взор, то есть неоскверненными и многоцветными.

Спасение сей веры не только личная воля, но и первейшая обязанность романтиков — ведь они должны блюсти негибаемость своего духа.

Мы помним, откуда веет этим духом. Знаем, куда он нас влечет. Без него нам не прожить, и везде и во всем надо искать его отражение... Искать настойчиво, страст-

но, без устали, пока восходит и заходит солнце, пока повторяются приливы и отливы океана...

Глубокая символика восхода и заката солнца должна сохраняться в любом проявлении романтической души. И не только любви, всем человеческим отношениям необходимо ощущение солнечного ритуала и магии межзвездного союза.

С этой точки зрения жизнь и смерть каждого человека, горе и радость отмечены необычностью и величием, своеобразной магией. Это надо только заметить, прочувствовать... И именно потому, к примеру, в сцене на реке, несущей бездыханное тело Лелы Гудуштури ("Для семи голосов и жаворонка"), ярко проявляется существенная особенность стиля Тамаза Бибилури – умение поэтически высветлить жестокую реальность, даже смерть у него, помимо всего прочего, напоминает, что все люди одинаковы и равны перед Всевышним.

Поэтому нас ничуть не удивляет, что грандиозная скорбь природы вызвана кончиной не какой-нибудь видной личности или персонажа-носителя идеала писателя, а обыкновенной старой женщины, каких немало вокрут.

Исчезновение каждого человека в реке бренного мира – уничтожение целого мира... Действительно ли уничтожение? Временный уход – присоединение к вечному круговороту.

Помните – за телом следует плачущая птичка?

Птичка присутствует и при смерти другого персонажа как символ его искренней души, птичка, которая своим взволнованным пением призвана закончить драматическое путешествие человека к родным корням.

Ее появление та художественная необходимость, которая тайными лучами должна озарить судьбу путеше-

ственников и еще раз напомнить о забытом единстве людей и природы.

Эта птичка со своей реалистически-символической внешностью появляется и во “Временах года”, и там, кроме своеобразного озарения финала, создает и композиционную опору – она встречает наступление каждого времени года. Более того – ее стараниями как бы сменяются времена года.

Взгляд устремляется к тому таинственному миру, к тому романтическому началу, тем реалиям, что остались как наследство от библейского Авеля и придают смысл человеческому существованию.

В Дамаске с нами случилась одна неожиданность. Нам заранее было известно, какие яркие впечатления ждут туристов в Сирии, но о могиле Авеля мы ничего не слышали и не читали. О ней случайно упомянул гид, когда мы ночью любовались городом с плато. “Вон там, – сказал он, протянув руку к возвышавшейся вдалеке горе, – находится могила Авеля”. “Как? – удивились мы. – Тогда завтра утром до поездки в аэропорт надо будет подняться туда”. “Посещение могилы Авеля не входит в ваш маршрут, – и, увидев наше разочарование, добавил, – ничем не могу помочь вам”.

Интересно, о чем думали составители маршрута?

Тамаз очень разволновался. “Если бы мы знали заранее, – сказал он и с упреком обратился ко мне, – а ты почему не знал? Мы должны увидеть ее... Как возвратиться домой, не увидев могилы Авеля?!”

Но она была довольно далеко. Незвестный край. Можно сбиться с пути. Пришлось смириться. Если бы знали заранее!.. Мы забывали об отдыхе, посещая исторические памятники – остатки великой цивилизации, а потом ныряли в пестрый, многоцветный людс-

кой поток, чтобы наблюдать уже другое зрелище.

“Гляди, мулла, Мулла Нассредин”, – Тамаз указывает на араба в национальном одеянии, сидящего на осле в какой-то средневековой позе. Почему в средневековой, непонятно, но в тот миг верится в это, и мы совсем не удивились бы, состри он вдруг по поводу чего- или кого-нибудь и арабы вокруг, кто спешащий куда-то, кто болтающийся без дела, покатились бы со смеху.

Как прочно, оказывается, запечатлелся в памяти Тамаза арабский парнишка, что крутился у нашей гостиницы. “Поговори с ним”, – попросил Тамаз, и я перекинулся парой слов с мальчишкой, и он сразу стал с нами запанибрата.

“Дамаск начался для меня с того мальчишки”, – запишет затем Тамаз, вернувшись домой. Похоже, он задумал путевой очерк, но осталось только это начало. Сердце у меня забилося учащенно, когда прочел я там несколько слов о себе.

Тамаз не ведал усталости, хотя внешне вовсе не оставлял впечатления энергичного и настойчивого человека. Скорее казался неженкой, тихим, стеснительным. Но за этим скрывались твердость характера, педантичная добросовестность и спортивная выносливость. Даже пораженный роковой болезнью, он пешком преодолевал расстояние в несколько километров от дома до места работы и обратно. И при этом пытался не изменять привычке по выходным дням бродить по тбилиским предместьям в одиночестве или с друзьями.

Во время путешествия в Сирию, оказывается, его уже точил недуг, но никто этого не заметил. На фоне грандиозных развалин античного города Пальмиры выделялась уцелевшая главная улица, начиналась она у голого поля, постепенно шла в гору и заканчивалась на вершине.

Туристский маршрут предусматривал лишь осмотр нижней ее части. Но как хотелось подняться наверх. Тамаз взглянул на меня горящими глазами, и мы тронулись в путь...

Он обязательно поднимался на сцены древнейших театров, присаживался на каменные скамьи в амфитеатре, как бы наблюдал представления античных времен. Он любил ставить воображаемые спектакли – и пьесы, и инсценированные прозаические произведения. Это было своеобразное проявление неосуществленного, но острого желания.

Театр и вправду чудом вошел в его душу. Не только Гарсо (“Для семи голосов и жаворонка”) вскружила голову чужая, сочиненная сценическая жизнь. Не только перед Гарсо предстал одетый, как паяц, волшебник, сказавший магические слова: – “Я – театр”, и не единственно его увлек он. Сам Тамаз воплотился в своем персонаже, это он с первозданным восхищением глядел на паяца-чародея.

Но пути, ведущие на сцену, оказались закрытыми для Тамаза. Уже обреченного на смерть, его ждало еще одно горькое разочарование, когда прославленный режиссер, даже не прочитав, вернул ему пьесу. А вдруг она мне понравится, – так мотивировал он свой поступок – и что тогда прикажете делать, я думаю о другой пьесе и хочу ставить именно ее.

Тамаз не мог понять, кто оказался в заколдованном кругу – он сам или театральная среда... Но разочарование все же не могло убить мечту, и он по-прежнему ради хорошего спектакля готов был преодолеть горы, доли и реки, выдержать любые затруднения.

И вот в один прекрасный день заказан авиабилет, и Тамаз летит в Афины смотреть комедию Аристофана в



театре Эпидавра... Или где-то вблизи Парижа в древней замке-крепости смотрит спектакль “Махабхарата”, поставленный Питером Бруком, спектакль, начинающийся в полночь и заканчивающийся при первых лучах солнца...

Вокруг происходили тысячи спектаклей со своими сюжетами и острыми коллизиями. Столкновение человеческих страстей он образно воспринимал в виде трагикомедий.

Именно поэтому драматургическое начало так резко проявляется в его беллетристике. В одном из литературных диалогов он так и заявил: “Когда собираюсь писать роман, сперва определяю арену действия, строю “декорации”, затем “сочиняю музыку”, потом “партитуру освещения” и, наконец, начинается “игра”, то есть начинаю “писать”...

Я совершенно отчетливо почувствовал, что на сцене пальмирского театра Тамаз сочинял драматические картины.

Нетрудно было догадаться, что он окунулся в воображаемый театр Важа Пшавела, еще раз проверяет, оценивает мизансцены... Призвать в эти монументальные развалины Важа – вполне закономерное явление, хотя для Тамаза Бибилури, чтобы вспомнить Важа, не требовалось никакого импульса, он и так был объят художественной мощью великого поэта. И все время пытался решить задачу – как сценическими средствами наилучшим образом можно выразить героический дух Важа и адский путь духовного катарсиса его героев. Но не все можно довести до финала, и здесь, среди пальмирских развалин, он безуспешно пытался превратить в театральную метафору последние две строки поэмы “Гость и хозяин” о том, как длинношейей цветок Пиримзе глядит

в пропасть.

Кто бы мог представить, что на сцену древнейшего театра, днем, под палящим солнцем вступят герои Важа Пшавела.

Это неважно, что зритель был всего один.

И так персонажи Важа сродни античным героям, и драму их надо бы играть на сцене, пронизанной духом Эдипа, Ореста, Агамемнона, Медеи, Антигоны, в среде, заряженной диониссовскими страстями.

Но туман блаженства вскоре рассеялся. Нас позвали, надо было спешить.

Ничего удивительного, что Алазанскую долину и Кавказский хребет Тамаз воспринимал как грандиозный театр. В глубине сцены – цепь огромных гор, а впереди – долина, на которой “художник спектакля” нарисовал серебряную реку.

Жизнь Тамаза сложилась так, что он едва ли не был отторгнут от своего призвания. Впряженный в журналистское ярмо, он почти не имел свободного времени. Лишь дважды на страницах журнала “Цискари” появились его новеллы. Первый раз он выступил совсем молодым, а затем долго не публиковался. Георгий Шатберашвили, оказывается, даже упрекнул его: многих, мол, знаю, кто писать не умеет и все же пишет, а вот чтобы уметь и, тем не менее, не писать, такой ты один.

Но что было делать Тамазу – молодежная газета требовала много сил и энергии. А время шло, быть может, беллетристический дар и угас бы, если б не счастливый случай. Неожиданно главный редактор газеты “Литературули Сакартвело” пригласил Тамаза на должность своего заместителя. Эта газета выходила раз в неделю, кроме того, писательская среда оказывала свое влияние и, главное, сам редактор – уважаемый Вахтанг

Челидзе подбадривал его, поднимал дух, всячески поддерживал. Тамазу уже ничто не могло помешать. После новелл и рассказов создал он и романы и оказался в самой гуще литературной жизни. Наибольший успех имели произведения “Жалоба” и “Время повелителя”. “Жалоба” – реалистический рассказ, пронизанный пацифистским духом, что звучало совершенно необычно на фоне тогдашней идеологии. Второе произведение – аллегорический роман о диктаторском государстве, крушении духовности и спасении остатков добра и человечности в кошмарных условиях. Прозрачные намеки прямо указывали читателю, какую страну подразумевал автор.

В обоих произведениях гражданская смелость и художественное мастерство прекрасно дополняли друг друга, и потому после отмены цензуры они не утратили своей привлекательности и значения. И в них, как и в другие произведения Тамаза Бибилури, не смог проникнуть журнализм. Такое проникновение Тамаз считал одним из больших недостатков современной прозы. Для него художественный мир любого ранга должен был находиться вне журнализма. Он сумел выработать своеобразный стиль, который отличает и его литературно-критические опыты, часть которых собрана в книге “Малое окошко”. Например, две статьи об Илье Чавчавадзе и художественный анализ книги Георгия Леонидзе “Древо желания” – хрестоматийные образцы того, как следует рассматривать произведение и определять его значение.

Казалось, с Луарсабом Таткаридзе мы давно хорошо знакомы. Однако, пожалуй, никто до Тамаза не увидел того лиризма, скрытого сочувствия, которые проявляет Илья Чавчавадзе к своему колоритному персонажу. Этот

лиризм разбавляет суровые сатирические краски. Луарсаб предстает перед читателем весьма честной личностью, обманутой и смирившейся с судьбой. Поиски глубоких слоев беллетристических произведений великого классика свободно стремятся к образному финалу, в котором на Цицамурской дороге поэт гордо крикнул мраку смерти: “Я – Илья!” – и в тот же миг раздался выстрел.

Этот критический очерк Тамаз написал за один день, но как раз по такому случаю говорится – всю жизнь и один день.

За всю жизнь и два-три дня написана статья о “Древе желания”.

Цикл новелл Георгия Леонидзе Тамаз называет романом и весьма обоснованно доказывает, какими прочными нитями связаны внешне различные истории, и как создают они единую панораму безликой и серой жизни.

Эта книга, утверждает автор, написана в поисках красоты, а найти ее, вероятно, можно повсюду, даже в той деревне, которая приводит нас в ужас своей “бездарной действительностью”.

...Тамаз ждал своего конца, знал, что неизлечимая болезнь не даст жить долго. Из задуманных нескольких романов пытался отобрать один, который наиболее рельефно и полно выразил бы его художественные убеждения.

“Думаю о таком романе, за который если не напишу, Господь изгонит меня с того света”, – записал он и в одной фразе уместил столько переживаний! Все-таки как велико это писательское стремление, не боящееся даже смерти... Эта фраза согрета улыбкой, которая редко, но запоминающе мелькала в сочинениях Тамаза.

Больница подавляла его, он все время пытался по-

кинуть ее стены... И вот другая запись: “Убежать бы в дождливый осенний день из дому, обойти пожелтевший лес, увидеть красную калину, подсохший шиповник... А дождь бы шел, не переставая, вконец озябнув вернуться бы домой, согреться у огня и в дреме уйти в мир иной”.

Душа в таких видениях находит облегчение. Они создают новую действительность, более правдивую и незабываемую, чем наше бытие...

Время от времени появляющийся призрак Тамаза – это образное его проявление. Оно быстро бледнеет и исчезает, с ним не успеваешь заговорить. Но веришь – призрак опять покажется, обнадежит и никогда не оставит тебя, пока в твоей жизни существует магическое ощущение солнца, луны и звезд.

ЖИВЫЕ ГЕРОИ

(Азербайджанская тема в творчестве

Михаила Джавахишвили)

В многогранном творчестве выдающегося мастера грузинской прозы XX века Михаила Джавахишвили значительное место занимает азербайджанская тематика. В своих произведениях, пронизанных чувством подлинного гуманизма, писатель создал богатейшую галерею живых, полнокровных, выписанных с поразительной психологической достоверностью и в то же время глубоко индивидуализированных образов представителей азербайджанской национальности, проживавших в Грузии и за ее пределами. В большинстве своем это мелкие ремесленники, торговцы, крестьяне.

Михаил Джавахишвили не раз подчеркивал, что писатель должен всесторонне и досконально изучить, осмыслить и прочувствовать все то, о чем он хочет поведать читателю. Без глубокого и основательного знания жизни, людей невозможно создать подлинно художественное, правдивое произведение. Не удивительно, что в произведениях М. Джавахишвили мы видим яркие и самобытные образы азербайджанцев (да и не только их) – писатель прекрасно знал уклад жизни, характер, образ мышления реальных двойников этих героев, жил среди них, понимал их думы и чаяния¹.

¹ В 1927 году в заметке “За культурную смычку народов Закавказья”, напечатанной в газете “Заря Востока”, М. Джавахишвили писал: “Я родился и провел детство в Борчало – в этом миниатюрном Закавказье. Меня окружали все: грузины, тюрки (т.е. азербайджанцы – Г.Г.), армяне, греки, русские, немцы. Имею даже родственников среди них... Помимо русского и родного, владею тюркским и немного понимаю по-армянски. Подолгу бывал в Азербайджане, Армении, Персии и Турции. Написал несколько рассказов из жизни мусульман, переведенных на местные языки...” См.: М. Джавахишвили. Собр. соч. в пяти томах, т. V, Тб., 1975, с. 146.

“Прототип во многом помогает писателю, — отмечает М. Джавахишвили в известной своей статье “Как я работаю”. — Если перед мысленным взором стоит живой, знакомый человек, то и тип выходит живым... Видел я и сапожника Габо, Курку, Ламбало, Кашу, Абдулу... Придуманый образ выходит сухим, перенесенный же с прототипа — наделен живыми чертами”.

Уже в первых рассказах (“Чанчура” — 1903, “Сапожник Габо” — 1904, “Свадьба Курки” — 1906 и др.), обличающих бесчеловечность, жестокость и аморальность общества, четко обозначилась гуманистическая направленность творчества М. Джавахишвили. С их страниц взывают к милосердию и состраданию глубоко несчастные, обездоленные, раздавленные социальной несправедливостью люди — преимущественно представители “дна”. “В те годы в литературе утвердилась тема “бедных людей”, и меня потянуло к ней... — вспоминал М. Джавахишвили. — Этот мотив — униженных и оскорбленных — даже после двадцатилетнего перерыва в творчестве неоднократно привлекал мое внимание. Да и не мог не привлечь, так как отзывчивость и сочувствие являются для писателя тем же, чем пальцы для чонгуриста”.

В “Свадьбе Курки” и “Сапожнике Габо” писатель рисует колоритные картины тбилисской жизни начала XX столетия. В ее многоголосии и многоязычии звучит и азербайджанская речь. Однако если в первом рассказе образы азербайджанцев лишь сюжетно обозначены и не играют в повествовании сколько-нибудь значительной роли (упомянуты золотых дел мастер Абдула да безымянный ковровщик, которому герой рассказа, чувячник Курка, сдает в наем угол в своей лачуге), то в “Сапожнике Габо” содержательница заведения Ханум — один из

главных персонажей произведения. В образе владелицы публичного дома, как, впрочем, и множества других потерявших человеческий облик людей в ранних рассказах М. Джавахишвили, как бы сфокусированы пороки современного ему общества – бессердечие, алчность, фанатичное поклонение золотому тельцу. В свое время Габо вызволил Ханум из дома терпимости, пригрел ее, помог встать на ноги, она же “отблагодарила” своего благодетеля (кстати, также морально деградировавшего человека) тем, что, опутав долговыми обязательствами, лишила его собственного дома и под конец безжалостно выбросила на улицу.

В 1925 году, после затянувшегося творческого молчания, М. Джавахишвили создает новеллы “Ламбало и Каша” и “Праведный Абдула” (последняя справедливо считается шедевром грузинской новеллистики), в которых одноименные героини предстают перед читателем уже как центральные фигуры этих произведений.

В рассказе “Ламбало и Каша” действие разворачивается в годы первой мировой войны на территории Иранского Азербайджана¹. Писатель с большим сочувствием повествует о трагической судьбе простого труженника – азербайджанца Машади Ахмеда (Ламбало), ставшего, как и многие его соплеменники, жертвой произвола и насилия со стороны колониальных властей и их прислужников – коллаборационистов.

В новелле философски осмыслено извечное противоборство добра и зла. Первое воплощено в образе Лам-

¹ В годы первой мировой войны М. Джавахишвили находился в армии (в провинции Урмия) в качестве уполномоченного Красного Креста. Военная служба, многочисленные поездки по территориям, занятым русскими войсками, безусловно, обогатили писателя новыми впечатлениями, помогли ближе узнать жизнь коренного населения, в частности азербайджанцев. Впечатления тех лет легли в основу многих его произведений.

бало – носителе лучших черт и качеств национального народного характера. Это – энергичный, простосердечный, честный и свободолюбивый юноша, не способный на подлость и предательство. Символом второго является “священнослужитель” Каша Лазарь – выродок, перевертыш и отцеубийца, не гнушающийся ничего ради достижения своих корыстных интересов – даже измены собственному народу.

Хотя в рассказе Ламбало погибает вследствие козней Каши Лазаря, подлинным его убийцей, как правдиво показано это в произведении, является самодержавный шовинизм, направленный против т.н. “иностранцев” и сеющий распри между народами. Олицетворяют эти темные силы в повествовании махровый черносотенец и держиморда епископ Павел, комендант города Березовский, генерал Чернозубов и иже с ними.

В великолепно выписанном образе старого Машади Иззата (отца Ламбало) находит воплощение авторская идея “рока-преследователя” (этот мотив, пронизывающий многие произведения М. Джавахишвили, во многом перекликается с философией фатализма в творчестве В. Барнова). В конце повествования Машади Иззат – карающая рука судьбы – жестоко мстит насильникам за смерть сына. “Машади Иззат помянул аллаха, засучил рукава и зарезал человека в фиолетовых одеждах (епископа Павла – Г.Г.) на том самом месте, где некогда по велению владыки забили до смерти Ламбало...”

Генерала Чернозубова неумолимая судьба схватила своими острыми когтями во Владивостоке.

Коменданту Березовскому пробилась грудь в Харькове красная пуля.

Консул Нератов замерз где-то в Сибири, а секретарь его утонул в Волге.

Грозен трубный глас вестника судьбы!
Велика сила рока-мстителя!”

В “Ламбало и Каше” отчетливо прозвучали и антиимпериалистические мотивы. В первой главе новеллы, повествующей об историческом прошлом азербайджанской провинции Урмии, М.Джавахишвили “поведал читателю о тех несчастьях, которые несли и несут с собой войны. О многом говорят судьбы людей, населявших эту территорию древних и великих государств, безжалостно растоптанных и разрушенных временем, нескончаемыми войнами, и автор вместе с читателями скорбит по этому поводу. Эта печальная увертюра потребовалась писателю для того, чтобы на примере трагической судьбы простого человека Ламбало вскрыть и показать весь ужас настоящей войны”, – писал критик Г.Гвердцители в своей вступительной статье к восьмитомному собранию сочинений М.Джавахишвили.

В “Праведном Абдуле”, построенном на криминальном материале, М.Джавахишвили художественными средствами исследует нравственно-этические аспекты преступления (этой же проблеме посвящены рассказы “Два приговора” – 1925 и “Два сына” – 1927). Трагична, как и история жизни Ламбало, судьба сарванского (село в Борчалинском районе Грузии) крестьянина Абдулы Керим-оглы – простого, бесхитростного человека, окруженного любящими его людьми – старушкой-матерью, молодой женой и маленьким сыном Вали. Безвинно осужденный за совершенное другим лицом (его двоюродным братом Мустафой) убийство к десяти годам заключения Абдула бежит из тюрьмы и узнает, что семьи у него уже нет – не вынеся горя, умерла мать, сбежала с другим жена, прихватив с собой ребенка, имущество и скот разворованы... Жизнь для несчастного Абдулы утратила смысл. Обуреваемый жаждой мщения, он вырезает всю семью Мустафы, совершая тем самым хотя



и жестокий, но справедливый, нравственно оправданный акт возмездия (вспомним здесь авторскую идею “рока-мстителя”). Абдула добровольно сдается властям, и суд, учитывая все обстоятельства дела, определяет ему... условное наказание и освобождает из-под стражи в зале судебного заседания.

Вполне очевидно, что “это приговор не только суда, но и писателя. Приговор, вынесенный коварству, злу, измене. Именно в этом главная мысль произведения, писатель борется за очищение мира от зла, за моральный катарсис”, – писал критик Георгий Натрошвили.

М.Джавахишвили судит своего героя не бесстрастной буквой закона и уложениями уголовного кодекса, а судом высшей инстанции – совестью самого преступника, давая тем самым не юридическую, а нравственно-этическую оценку свершившемуся факту.

В “Праведном Абдуле” писатель с поразительным мастерством раскрывает внутренний мир героя, передает тончайшие нюансы и оттенки его духовной жизни, мыслей, чувств – потому-то читатель и верит, и сопереживает этому обездоленному человеку.

В обеих новеллах воссозданы запоминающиеся образы простых азербайджанских женщин – Зекии (“Ламбало и Каша”), Зовры, Фатьмы (“Праведный Абдула”) – разбитая, исковерканная жизнь которых вызывает сочувствие и сострадание не в меньшей степени, нежели судьбы их мужей и сыновей.

Тема дружбы народов многогранно раскрыта в историческом романе М.Джавахишвили “Арсен из Марабды” (1933), где рядом с грузинами борются против крепостничества и самодержавия русский “пугачевец” Карпыч, украинец Остап, осетин Мешта, армянин Баго, азербайджанец Дали-Гассан. Эти романтически возвышенные образы романа предстают перед нами как идей-

ные и духовные братья легендарного Арсена Одзелашвили.

Дали-Гассан – личность историческая. Сведения о нем сохранились в воспоминаниях известного русского поэта Я.П.Полонского, который лично был знаком с народным мстителем¹. “Встреча с Таш-Тамуром, по прозвищу Гассан, – пишет исследователь творчества Я.Полонского И.С.Богомолов, – глубоко запечатлелась в памяти поэта и вдохновила его на создание замечательного произведения (имеется в виду незаконченная поэма “Караван” – Г.Г.)... Любопытно, что по имеющимся сведениям борчалинский разбойник Гассан был тесно связан с легендарным Арсеном”².

М.Джавахишвили рисует в своем романе правдивый образ бывшего разбойника, вставшего после встречи с Арсеном в ряды борцов за свою и чужую волю. Это необычайно ловкий, мужественный, верный данному слову и клятве человек. Писатель не идеализирует своего героя – порой Гассан бывает и чрезмерно жесток и необуздан в проявлениях своих, пусть даже благородных, чувств и порывов. Но главное в нем – и это прослеживается на протяжении всего повествования – искреннее чувство дружбы к Арсену и “лесным братьям”, любовь и привязанность к земле, на которой он родился. “Валла... Но только куда пойду? – признается он Арсену. – В Турцию, в Персию? Был я там – и назад бежал. Чужой все народ, не нравится мне. Гюрджистан – моя земля, никуда отсюда не пойду...”

Именно Дали-Гассан застрелил убийцу Арсена – Гамзат Эддина – прислужника злейшего врага Озде-

¹ “В сером замке Борчалинского участка познакомился я с бывшим атаманом разбойников Таш-Тамуром. Это знакомство навело меня на мысль описать жизнь закавказского разбойника”, – пишет в своих воспоминаниях Я.Полонский. См.: Я.Полонский, Стихотворения, Л., 1954, с.509.

² И.Богомолов. Я.П.Полонский в Грузии, Тб., 1966, с.130, 131.

лашвили Георгия Кучатнели, отомстив тем самым за смерть своего побратима.

Историческая дружба, взаимотяготение грузинского и азербайджанского народов находят образное воплощение и в других произведениях М. Джавахишвили. С братской любовью относятся друг к другу Абдула и его “кардаш” Шакро, Ламбало и “гурджи” врач; узами своеобразной “авантюрно-романтической дружбы” связаны между собой бывший торговец сладостями Халил и Квачи Квачантирадзе с его “корпорантами” (“Квачи Квачантирадзе” – 1924).

“Вскоре выяснилось, что меня, приехавшего издалека гурджи, и этих простых азербайджанцев связывало кровное родство, что я и выкрашенные хной джалилы, бритоголовые разахи и... джебраилы где-то и когда-то были вместе вскормлены, связаны невидимыми и таинственными цепями дружбы. Кто, когда, где и почему протянул между нами эти невидимые нити – мне и сейчас неведомо...” В этом публицистическом пассаже из новеллы “Ламбало и Каша” наиболее четко проявилась гуманистическая сущность творчества М. Джавахишвили.

Для образной характеристики своих героев М. Джавахишвили обильно пользуется азербайджанскими лексическими элементами, фольклором (в тексте приводятся многочисленные баяти, шикаста), свидетельствующие о глубоком знании автором азербайджанского языка, культуры, быта и нравов братского народа (великолепно выписаны сцена свадьбы, интерьер дома азербайджанцев в “Ламбало и Каша” и т.д.).

Идея подлинной дружбы и братства людей разных национальностей красной нитью проходит через все творчество Михаила Джавахишвили, и это – одно из главнейших его достоинств.

Натела УРУШАДЗЕ

НАТО ГАБУНИЯ

К тому времени, когда обновился постоянный грузинский театр, в Тбилиси, в какой-то степени уже европеизированном, национальную одежду носили разве только пожилые люди, и то далеко не все. Поэтому несколько необычно выглядела 19-летняя актриса Нато Габуня, с первого дня своего выхода на сцену надевшая на голову национальный убор и уже не снимавшая его.

Известно, что она сделала это по совету Ильи Чавчавадзе и Иванэ Мачабели. Как видно, они считали, что в театре, призванном отстаивать национальную самобытность, хотя бы одна актриса должна была носить на себе внешний признак этого. Но почему именно Нато? Было, очевидно, в ней нечто такое, что делало чихти-копи и грузинское платье абсолютно естественным для нее.

Она родилась в Гори 3 февраля 1859 года. Женского училища в Гори тогда не существовало. Грамоте ее научила бабушка, мать матери. Позднее ее отдали в одну русскую семью, жившую там же в Гори, учиться русскому языку. Плата за учебу составляла три рубля в месяц. Нато пробыла в этой семье три месяца, немного выучилась русскому, и на этом ее образование закончилось.

Ей было 16 лет, когда она впервые вышла на сцену. Это произошло в Гори в 1875 году в доме князя Элизбара Эристави, где был показан спектакль по пьесе Георгия Церетели "Скупец", Нато играла в нем роль Монаварди. На представлении присутствовал прибывший из Тбили-



си сын Георгия Эристави, драматург и театральный деятель Давид Эристави. Ему очень понравилась Нато. Он познакомился с ней и пригласил принять участие в спектакле по французской пьесе “Гео, Минас и компания”, которую переделал на грузинский лад. Пьесу готовили к постановке тбилисские любители сцены. Он даже взял слово с отца Нато, что тот непременно привезет ее в Тбилиси для участия в этом спектакле. Мераб Габуния сдержал данное слово и в 1876 году привез Нато в Тбилиси.

В тот вечер в зале Кавказского музыкального общества собралось много народу. Нато привела всех в восторг. Несмотря на это, а может быть именно из-за этого, отец увез ее на другой день в Гори. Там Нато участвовала еще в нескольких представлениях, имела успех, ее хвалили. Она еще более полюбила сцену. По ее словам, “теперь она постоянно думала о представлении”.

А Давид Эристави, со своей стороны, всячески пытался любыми способами вовлечь Нато в деятельность Тбилисского кружка любителей сцены. С этой целью он подослал к Мерабу Габуния его же родственника Заала Мачабели, но тщетно, а Нато уже не представляла себя вне сцены. Обстоятельства осложнились. Не видя выхода, Нато ослушалась отца и уехала вместе с Заалом Мачабели в Тбилиси, где жила ее замужняя сестра. Отец долго не мог простить ее и примирился с ней только в 1882 году в день ее свадьбы с Аквсентием Цагарели.

21 марта 1879 года состоялись премьеры переделанной с французского Давидом Эристави пьесы “Гео, Минас и компания” и настоящий дебют Нато Габуния. Она играла жену Минаса, по существу, ее судьба решилась именно в тот день. Иосиф Гришашвили впоследствии писал об этом событии: “Все чувствовали, что рождается великая

артистка, сказочная жар-птица”.

Комедия и водевиль были ее стихией. В основном, она играла женщин средних лет – княгинь в возрасте, городских дам.

Незначительных ролей для нее не существовало. Желание играть было так велико, что, уже будучи прославленной актрисой, она постоянно участвовала в спектаклях народных домов, представлениях для рабочих, причем совершенно бескорыстно. Играла в спектаклях, которые ставились местными силами во дворах маленьких городов и сел.

У нее был прекрасный голос. Она замечательно пела на концертах и дивертисментах. Любила петь стихи, особенно такие, которые хорошо ложились на мелодию – шикаста*, баяти**, мухамбази***.

Пение Нато Габуния было настолько приятным, что прикованный к постели маститый поэт Григол Орбелиани просил близких: дайте мне послушать ее песни. Илья Чавчавадзе и Иона Меунаргия исполнили просьбу поэта, привели к нему Нато. Весь вечер актриса пела для поэта... Ее слушали Григол Орбелиани, Иванэ Мачабели, Илья Чавчавадзе, Иона Меунаргия. Легко себе представить, что это был за вечер!

У нее была прекрасная дикция, все звуки произносились безупречно. Говор был истинно грузинский, интонация – многообразная, красноречивая.

Архив Нато Габуния небогат фотографиями, особенно, где она запечатлена в той или иной роли. До нас дошли может быть шесть-семь таких снимков. Зато достаточно свидетельств, которые оставили нам восхи-

* Восточный печальный песенный напев.

** Одноголосая восточная мелодия.

*** Старинная стихотворная форма.

ценные ее искусством критики, вплоть до описания небольших эпизодов, сыгранных ею, например, в пьесе Зураба Антонова “Путешествие литераторов на плоту”.

В “Путешествии... на плоту” Нато исполняла две совершенно различные роли. Молодую крестьянку, у которой то ли стражник, то ли есаул отнимает курицу вроде бы для того, чтобы приготовить обед путешествующим. Героиня Нато поднимает целый тарарам – сперва плачет, потом призывает проклятия на голову грабителя, затем хватается за камень и под конец пытается отнять свою курицу. Совершенно очевидно, что действия своей героини актриса строит по возрастающей... В той же пьесе она исполняла роль старой крестьянки. “Совершенно иной образ, совершенно иной человек. Она тихо заговаривала ученых-географов, спорящих о градусах, широтах и долготах, как будто они были порченые, что-то бормотала про себя, широко при этом зевая, и то удлиняла, то укорачивала свой узкий коричневый пояс, как бы измеряя меру порченности ученых” (Илья Зурабишвили, Театральные портреты, с.200).

Две роли играла Нато Габуния и в комедии Аквсентия Цагарели “Иные нынче времена” – крестьянку Катину и жену старого горожанина Оросме. Ничего общего между этими двумя характерами нет.

И в пьесе Габриэла Сундукяна “Неприятная история” ею исполнены две роли – Натальи и Самферы. Именно об исполнении последней роли Илья Чавчавадзе писал: “Г-жа Габуния играла роль тети Георгия. Когда она впервые выскакивает на сцену с чадрой на голове и начинает говорить скороговоркой – одна только эта минутная сцена стоит всего спектакля! Зал взорвался от аплодисментов, долго не смолкавших. Нечасто человеку

приходится сталкиваться с талантом, столь щедро излучающим подобное сияние! Это действительно было потрясающее зрелище!” (И. Чавчавадзе, т.3, с.98).

Еще более интересны отклики на те роли в исполнении Нато Габуния, сценическая жизнь которых была не так эпизодична и кратковременна, потому что они давали возможность показать процесс развития образа.

Из источников мы узнаем, что Нато Габуния очень серьезно относилась к внешности своих сценических героинь, продумывала каждую деталь, их взаимодействие, выделяла основную черту характера и с развитием образа выявляла ее в действии.

В творчестве актера или актрисы, каким бы богатым и многогранным оно ни было, все же есть один художественный образ, который является важнейшим из всех, созданных творцом образов, потому что именно в нем наиболее ярко проявилась его творческая индивидуальность.

По мнению современников, таким образом для Нато Габуния был образ Ханумы. Кто не видел Нато Габуния в роли Ханумы, считал Александр Имедашвили, не в состоянии себе представить, каких высот может достичь творчество актера. Вот один эпизод из сценической жизни Ханумы в исполнении Нато Габуния:

“...Ханума должна сказать Соне: “Дай мне свое платье, я выйду вместо тебя”. Но прежде чем произнести эти слова, Нато выдерживает удивительно долгую паузу, чего я не видел на предыдущих представлениях. Уже начиная со слов: “Вы ни о чем не беспокойтесь!”, лукавая улыбка на ее лице расплывается, ширится и в наступившей тишине переходит в тихий грудной смех – Нато-Ханума смеется над пришедшей ей в голову озорной, но смелой идеей: она предстанет перед князем! Перед ее



внутренним взором, похоже, встает та уморительная картина, свидетелями которой мы вскорости станем, и она заранее наслаждается своим искусством и глупым положением, в котором окажется князь, и произнося слова "...я выйду вместо тебя!", она уже не может сдерживать смеха" (И.Зурабишвили. Театральные портреты, с.214-215).

Проделка, придуманная Ханумой, очень важна для персонажа и, стало быть, для актрисы: в ней она видела главную черту характера Ханумы – талант. Это ведь она придумала ситуацию, которая помогла ей одержать победу в борьбе не на жизнь, а на смерть с Кабатом и князем.

Танец Ханумы-Нато никого не удивляет, актриса ведь была несравненной танцовщицей. Здесь главное, как она придала включенному в спектакль танцу драматическую функцию. У нас имеется документальное свидетельство буквально в несколько строк, но и этих строк достаточно, чтобы понять, как в отдельно взятом эпизоде актриса готовила финал последующего:

"...Вот мы видим Хануму во втором акте, когда она появляется перед женихом наряженной невестой вместо Сони. Это самый опасный эпизод для актрисы. Здесь очень просто переиграть, но Нато справляется с ним так просто, что приводит зрителя в изумление. Ханума побеждает. Видели бы вы, как уверена она в себе, как гордо вскинута ее голова, как кружит она в лезгинке. Повторить это невозможно. Нато прекрасно танцевала лезгинку, но ведь и Ханума по-своему должна была уметь исполнять ее. И танец Нато с исполнителем роли Акопа – это неповторимая лезгинка Ханумы!" (Ал.Буртикашвили, Мастера сцены, с.59).

Говоря об опасном эпизоде, критик имеет в виду, что

эту крайне рисковую сцену, разыгранную Ханумой перед князем и его почетными гостями, актриса сыграла в страхе, что ее кто-нибудь может узнать, и тогда все пойдет прахом – ее карьера, ее имя, а не только это одно конкретное дело. Победа в этом случае означала признание Ханумы лучшей в своем деле. И раз это так, победа должна была быть выражена особо – и Ханума-Нато начинает танцевать. Этот танец – величайшее выражение победы, стало быть, он имеет драматическую функцию.

Нато Габуния не мыслила существования на сцене без активного действия. Поразительно, но это четко видно на одной из фотографий Ханумы-Нато.

Это фото снято не во время представления, тогда таких снимков не делали. Фотография выполнена в фотоателье, но актриса, тем не менее, не позирует и не смотрит в объектив – она движется, причем быстро, по фотоателье. Без партнера и зрителя Нато Габуния сумела на мгновение оживить свою героиню. Как? Благодаря воображению, поразительному дару фантазии. Динамика была ее естественном. Покоренный талантом Нато Габуния зритель неоднократно выражал свой восторг в стихах, в том числе и Важа Пшавела. Особенно много было сказано и написано в 1909 году, когда грузинская общественность торжественно отмечала 30-летие сценической деятельности любимой актрисы.

А летом следующего, 1910 года Нато Габуния, полная жизни и творческой энергии, совершенно неожиданно скончалась в возрасте 51 года.

Летом Нато обычно ездила отдыхать либо в свое село Тквиави, либо к родственникам в Хведурети. Но пассивный отдых она не признавала. Поэтому часто устраивала представления для крестьян с благотворительной

целью. В этих представлениях принимали участие местные любители сцены, а при необходимости она вызывала и актеров из Тбилиси. В то лето она позвала Нико Гоциридзе: “Дорогой Нико, – писала она ему в письме, – сегодня мы едем в Карели, где будет дано представление... Если ты согласишься (я-то согласна), в конце недели устроим представление для крестьян, доход в их пользу: надо построить баню”. Ставили “Хануму”. Нато должна была играть Хануму, Нико – Акопа. Нико Гоциридзе принял приглашение и приехал в Карели. Вот что он рассказывает об этом: “Приехав в Карели, в день представления я осмотрел “сцену”. Там царил полный беспорядок, сценические доски валялись тут и там, везде мусор. Через два-три часа должно было начаться представление, а сцены, как таковой, не было... Я разозлился. Нато заметила это и окрысилась на меня: чего опустил нос, если я играю на этой сцене, ты, что, не можешь?” (“Театр и жизнь”, 1910, № 33).

Представление состоялось 17 июля 1910 года. Было очень жарко. Нато в тяжелом бархатном платье Ханумы, по-видимому, взмокла, простудилась, получила воспаление легких. Сердце ее не выдержало.

Ее неожиданная смерть потрясла всех, кто понимал значение творчества Нато Габуния для грузинской культуры.

12 августа, в день ее похорон, грузинский театр закрылся. Таково было желание всех его работников – все хотели проводить гордость грузинского театра в последний путь. Но нам кажется, в этом акте закрытия театра, в его опустении кроется большее содержание.

Ее похоронили на Кукийском кладбище. На могиле была поставлена скульптура с надписью: “Тебя не забудет родная сцена”. Со временем от скульптуры почти



ничего не осталось, как, впрочем, от всего, что связано с творчеством этой великой актрисы — ни одного сценического костюма, ни ее дайры, ни подаренной ей великим итальянским актером Эрнесто Росси картины... В семье ее потомков хранится чайное ситечко, серебряные щипчики для сахара и непонятного назначения какой-то предмет, а в Театральном музее — старинный альбом, несколько адресов и несколько писем... И ничего больше.

Вот и все, что осталось от великой актрисы. Но это не значит, что ее творчество забыто. Оно живет в сердцах тех, кто ее любил, и в сердцах тех, кто ее знает. И оно будет жить всегда.

Эта статья была опубликована в журнале "Театр" № 33, 1910 год. Автор — А. К. [?].

Вот и все, что осталось от великой актрисы. Но это не значит, что ее творчество забыто. Оно живет в сердцах тех, кто ее любил, и в сердцах тех, кто ее знает. И оно будет жить всегда.

Вот и все, что осталось от великой актрисы. Но это не значит, что ее творчество забыто. Оно живет в сердцах тех, кто ее любил, и в сердцах тех, кто ее знает. И оно будет жить всегда.

Вот и все, что осталось от великой актрисы. Но это не значит, что ее творчество забыто. Оно живет в сердцах тех, кто ее любил, и в сердцах тех, кто ее знает. И оно будет жить всегда.

Вот и все, что осталось от великой актрисы. Но это не значит, что ее творчество забыто. Оно живет в сердцах тех, кто ее любил, и в сердцах тех, кто ее знает. И оно будет жить всегда.

ЛЕСЬ КУРБАС И ДЕЯТЕЛИ ГРУЗИНСКОЙ СЦЕНЫ

Лесь Курбас – человек, художник, личность, чье искусство спустя столько лет не только не забыто, но волнует и интересуется нас актуальностью всего того, чем он жил, и тем, что сумел опередить свое время, протянуть невидимые нити в будущее. Сегодня мы вновь возвращаемся к его личности, к его искусству, чтобы пристальнее взглянуть в прошлое, разобраться в клеветнических измышлениях и обвинениях в его адрес, в правде и неправде, поставить все на свои места... Жизнь и творчество таких деятелей советской сцены, как Вс. Мейерхольд, А. Таиров, Л. Курбас, С. Ахметели, достойны не только самого внимательного изучения, но и определения их места в общем развитии советской культуры, творческих взаимосвязей, существовавших между ними, позволивших им занять свое почетное место в общем потоке развития мирового сценического искусства.

Лесь Курбас, гордость и слава украинской сцены, один из тех деятелей, чьи связи с грузинским театром, его выдающимися мастерами вызывают безусловный интерес.

Причем интересны не только факты, личные контакты или просто обмен любезностями, диктуемый законами гостеприимства, но и проблема творческого единомыслия, единения, схожие, рожденные временем поиски на пути создания нового, глубоко национального и в то же время интернационального пролетарского театра.

Очень недолго продолжались контакты Курбаса с Грузией, отчаянно мал был тот отрезок времени, за который он узнал наш край – почти в конце активной творческой жизни, но как был насыщен событиями, эмоциями этот период его жизни, как много об этом еще не сказано...

Надо полагать, о Кавказе, о Грузии такой образованный человек, как Лесь Курбас, знал многое. Именно это знание подвигло его на ту необыкновенную встречу, которую его “Березиль”, весь Харьков, тогдашняя столица Украины, устроили первым ласточкам из Грузии, 2-му грузинскому гостеатру под руководством К.Марджанишвили...

Знаменательно, что это были самые первые гастроли в истории грузинского театра и возглавил их К.Марджанишвили, который так любил Украину. В начале XX в. он работал в театрах Харькова, Одессы. В 1919 г. поставил в Киеве исторический спектакль “Овечий источник”, где стал первым комиссаром театров. И это было неслучайно.

Грузины ехали в братскую республику с волнением, надеждами, и ожидания их оправдались.

Один из соратников К.Марджанишвили народный артист СССР, режиссер Д.Антадзе пишет в своих воспоминаниях, как поразила их встреча на харьковском вокзале – митинг, восторженные речи, плакаты, приветственные надписи на грузинском языке, цветы, аплодисменты, “восточный” облик зала Червонозаводского театра, звуки “Сулико”... смешалось все – грузинский и украинский языки, спектакли, песни, танцы. Многочисленные встречи с деятелями искусства, трудящимися республики, восторженные отзывы прессы. “Котэ Марджанишвили глубоко уважал Лесья Курбаса, – пишет Д.Антадзе, – считал его большим, талантливым художни-

ком, а Марджанишвили обычно был скуп на похвалу, особенно в оценках режиссеров”. Как писала харьковская газета “Работническо дело”, это была “первая весна культурного союза”. В “Харьковском пролетарии” были помещены шаржи на К.Марджанишвили и Л.Курбаса, которые “шиплют” на сценах своих театров всякое проявление национальной экзотики – кинжалы, бурки, гопаки и др.

По воспоминаниям народной артистки СССР В.Анджапаридзе, весь грузинский театр во главе с Марджанишвили был влюблен в Курбаса, всех покорила его личность, талант, необычность всего его облика. Успех грузинских актеров был огромен, в прессе были напечатаны восторженные отзывы на спектакли “Уриэль Акоста”, “Гоп-ля, мы живем!”, “Рогор” (“Як це було”), “В самое сердце” и др.

Кроме радости человеческих встреч Леся Курбаса, естественно, интересовала творческая лаборатория грузинских артистов. Как вспоминал Д.Антадзе, однажды Л.Курбас во время спектакля “Гоп-ля, мы живем!” прошел за кулисы, осторожно открыв дверь, спросил: – “Можно?”, потом подошел к Антадзе, который в это время давал указание радисту, и стал внимательно наблюдать, как использовалось радио и киноустановки в спектакле.

Позднее, как рассказывает Д.Антадзе, во время гастролей украинского театра в Тбилиси, он увидел спектакль Курбаса, в котором тот оригинально, по-своему использовал радио.

Незабываемы были встречи грузинских деятелей сцены в харьковском оперном, им.Баkitного, в Червонозаводском театрах.

22 апреля 1930 года в здании театра “Березиль” был

устроен “Вечер братания двух театральных культур”. Перед многочисленной украинской аудиторией грузинский театр показал по одному акту из спектаклей – “Уриэль Акоста”, “Гоп-ля”, “Рогор”, березилевцы же – 1 акт из “Народного Малахия”. После третьего акта выступил руководитель театра Лесь Курбас, который подвел итоги гастролей грузинского театра, отметил его творческие достижения. Особенно подробно он остановился на режиссерской технике, декоративном оформлении спектаклей, мастерстве актеров, подчеркнув, что приезд грузинского театра будет способствовать более тесному сближению культур двух братских народов. В ответном слове выступивший под гром аплодисментов К.Марджанишвили рассказал о тех впечатлениях, которые произвели на грузинских деятелей театра достижения Украины в культурной и хозяйственной жизни, высокий художественный уровень спектаклей театра “Березиль”.

Л.Курбас и его соратники, вся украинская общественность высоко оценили репертуар грузинского театра, талантливую режиссуру, блистательных У.Чхеидзе, В.Анджапаридзе, В.Годзишвили, Ш.Гамбашидзе, Х.Чичинадзе и многих других, синтетический, гармоничный характер постановок Марджанишвили.

Надо внимательно вдуматься, говорилось в статье, напечатанной в “Вестях ВЦЦВК”, что мы можем воспринять у грузинского театра, тем более, что у театров обоих народов одинаковые трудности: это “репертуарные ножницы”, отставание драматургии от театра... во всяком случае, одним они нас обогатили, тем, что до сих пор украинский театр был “театром слова”, грузины же вместе с новым, утонченным психологизмом актеров показали и другие стороны их мастерства – культуру

движения, пластику, значение ритмики, предельную музыкальность...

Вслед за марджановцами, после громадного успеха на Олимпиаде в Москве, в Харьков приехал театр им. Руставели. Вдова руководителя театра им. Руставели С. Ахметели, известная грузинская актриса Т. Цулукидзе, в своей книге “Всего одна жизнь” на нескольких страницах описывает гастроль театра. Вся труппа находилась в каком-то восторженном состоянии. Не стану описывать встречу, которая была устроена в Харькове театру С. Ахметели – бездна изобретательности, фантазии, а главное огромного сердечного тепла, тонкого внимания и дружеской открытости.

Т. Цулукидзе особо останавливается на личности народного артиста республики Александра Степановича Курбаса.

“На вокзале Курбас, – пишет Т. Цулукидзе, – обратился к нам с речью, которую начал и закончил несколькими фразами на грузинском языке. Потом мы узнали, что еще за полгода до нашего приезда он начал изучать грузинский язык, чтобы приветствовать собратьев по искусству на их родном языке.

Привлекала внимание его запоминающаяся внешность: смуглое, моложавое лицо с живыми черными глазами, пышная, совершенно седая шевелюра, юношески стройная фигура, элегантность, учтивость, сдержанность, тихая речь и какое-то внутреннее пламя, угадываемое во всем его существе... В Курбасе чувствовался сильный, непреклонный характер. О нем говорили: “Железный диктатор”. Авторитет его был огромен. В театре его боготворили, но и врагов у него было немало благодаря резкости и прямоте его характера”.

За время гастролей Курбас и Ахметели сильно

сблизились, пишет Т.Цулукидзе, “многое в понимании задач театра их объединяло. Однако в режиссерских сценических приемах они весьма различались”.

Курбас и Чистякова пригласили к себе Ахметели с женой. “Они тогда только что поженились и получили квартиру где-то на окраине в новом многоэтажном высотном доме (такие тогда были редкостью) на шестом этаже. Квартира пока была полупустая, неустроенная, но молодая хозяйка так радушно нас принимала, так мило хлопотала за столом, извинялась, что “рис в супе не доварился”, что мы почувствовали себя, как в давно знакомой и теплой семье”.

Затем была поездка по городу на лошадях, оказалось, что и Ахметели и Курбас любили “дедовский вид транспорта”, коней...

...Встречи в Харькове стали незабываемы, спектакли Ахметели – “Анзор”, “Разлом”, “Ламара” покорили всех. Как отмечала “Работническа газета”, в массовых сценах этих спектаклей проявилось огромное мастерство Ахметели, то, что он сам прекрасно сформулировал, как “массовую индивидуальность” или “индивидуальную массовость”.

Особенно глубокое впечатление произвели на зрителей артисты А.Хорава, А.Васадзе, Т.Цулукидзе, Т.Чавчавадзе, Г.Давиташвили и другие.

В одном из своих выступлений Л.Курбас сказал, что “Анзор” – прекрасный пример того, как надо изображать революцию на сцене. Потрясенный фантазией С.Ахметели и эмоциональным накалом спектакля Л.Курбас воскликнул – “Здорово зроблено!” Воздавая должное мастерству грузинского режиссера, как вспоминал в беседах со мной народный артист СССР Л.Сердюк, Лесь Курбас на период гастролей грузинского театра отменил

свои репетиции и обязал своих актеров посещать репетиции и спектакли Сандро Ахметели. За гастролями грузинских театров на Украине последовала Декада украинского искусства в Грузии в июле 1931 года. 10 июля 1931 года в Тбилиси был создан организационный комитет под председательством А.Квирикадзе. 22 июля в Картинной галерее Грузии открылась “Выставка украинской культуры”. 27 июля газета “Комунисти” посвятила целую страницу Декаде, были напечатаны портреты Курбаса и Микитенко, стихотворения Сосюры и Рыльского.

Встречая “березилевцев” в Тбилиси, Котэ Марджанишвили восторженно писал – “Приезжают Бучма, Крушельницкий, Чистякова, Ужвий и многие, многие мастера искусства, способные творить волнующие образы... Едут сюда “Кадры”, “Диктатура”, “Пролог”, “Гайдамаки” в своем чудесном одеянии, созданном Меллером и его товарищами по кисти. Крепкие мускулы, верный глаз, тонкий слух – все работники этого чудесного театра, точно знающие место каждой ноты, каждого цвета. Сегодня приезжают все те, кто словом своим творят новую мысль новой жизни. Сегодня приезжает Лесь Курбас.

Но сегодня приезжают и сердца любимых наших “побратимов”, те сердца, что дали нерушимое слово стараться скорее выковать новый театр, советский театр, театр новой мысли: новой формы, нового содержания.

Я никогда не забуду дня, когда, подходя к украинскому театру, прочитал грузинские слова, приветствовавшие нас как служителей Советской Грузии.

Я не могу удержаться от радостного чувства при воспоминании о чудесной встрече с вами в едином украинско-грузинском спектакле, сыгранном на вашей

площадке и братски связавшем нас навсегда. Что же я могу пожелать вам?

Я хотел бы собрать всю энергию зрителя, растраченную на аплодисменты и в вашем и в нашем театре, построить из нее такой двигатель, который скорее бы домчал и вас и нас до прекрасных пределов строящейся новой жизни”...

Виссарион Жгенти в статье “Единым фронтом к пролетарской культуре” писал о “березилевцах”: “Березиль” один из прекраснейших спутников пролетарской революции, более того, это художественный коллектив, который интенсивно выявляет пути новой театральной культуры, воспитывает новые кадры, строит свою работу согласно вкусам и требованиям нового пролетарского зрителя, задачам и сегодняшним требованиям строительства социализма... этим объясняется та популярность и авторитет, которыми пользуется этот театр и его руководитель народный артист республики Лесь Курбас в широких массах трудящихся. Поэтому можно сказать, что “Березиль” является ярким выражением огромных побед Советской Украины на культурном фронте”.

Все газеты были заполнены хроникой проведения Декады в Грузии. Газета “Заря Востока” от 28 июня в своем отчете о встрече писала: “Вот мелькнул энергичный острый профиль Курбаса и зазвучали приветственные возгласы и уже трудно различить, кто встречает и кто приехал... звонкий молодой голос режет гул приветственных восклицаний – “Хай живе еднання братских культур”.

На митинге с импровизированной трибуны к присутствующим обращается Курбас: “На нашу долю выпала большая радость: в столице Грузии и Закавказья показать

свое молодое революционное искусство. В прошлом году мы были счастливы встретиться с великолепными достижениями грузинских театров в Харькове. Мы привезли большое чувство радости и восторга, которое позволяет нам еще крепче скрепить дружбу с грузинскими трудящимися... Нашу встречу мы рассматриваем как выражение интернациональной солидарности, социалистических культур двух народов. И оттого эта встреча нас воодушевляет и наполняет бодростью и энтузиазмом”.

Вчитываясь в эти слова, мы слышим голос времени, бурного, полного событиями. Сегодня, на расстоянии, в наш практический, холодный век, многое нам может показаться патетическим, наивным, сентиментальным – и то, как они заключали соцсоревнование, как устраивали братание, танцуя под звуки музыки из “Ламары”, но время было таким эмоциональным, бурным, и театр этим жил. Были потрясающие по своей искренности встречи с писателями, художниками, композиторами, рабочими, колхозниками по всей Грузии, а сколько было добрых слов, объятий, рукопожатий и все от чистого сердца... Прощальный банкет проходил в Верийском парке напротив театра им.Марджанишвили (этого парка уже нет). В.Анджапаридзе вспоминала, что оркестр восточной музыки собрали наспех, а дирижировал народный артист СССР В.Годзиашвили. В.Анджапаридзе уговорила Л.Курбаса принять участие в общей пляске и он, смеясь, развел руки... Счастливое время! Как они были молоды, как верили в себя... На банкете было несколько сот человек. Тамадой, веселым, остроумным, был Сандро Ахметели... Как вспоминает Т.Цулукидзе, рядом с ней сидел Курбас, “он почему-то был печален в этот вечер, хоть и старался улыбаться и откликаться на шутки. Его супруга сидела наискосок от

него по другую сторону стола рядом с Колей Шенгелая.

Александр Васильевич, проходя мимо, издали крикнул Курбасу:

– Алаверди к вам, Лесь, дорогой! За вами слово!..


Лесь проводил его взглядом и задумчиво, с какой-то затаенной грустью произнес: – Какой красивый человек! И счастливый, должно быть, – затем неохотно поднялся, взял бокал... Все затихли, приготовившись слушать. Из его речи, довольно пространной, мне запала в память одна мысль, поразившая остротой, смелостью. Он сказал:

“...Традиции надо уважать, но не преклоняться перед ними, не стоять у их ног, а стать им на плечи и идти дальше”.

На этой встрече было решено произвести обмен пьесами – на украинской сцене поставить “Тетнульд” Ш.Дадиани, а С.Ахметели собирался ставить “Диктатуру” И.Микитенко и пьесу И.Кочерги “Часовщик и курица”.

Как было договорено, Л.Курбас горячо взялся за постановку “Тетнульда”, пьесу быстро перевели на украинский язык, а Л.Курбас, Меллер и Скляренко приехали в Тбилиси. Затем в сопровождении Ш.Дадиани (он доехал с ними до Зугдиди), режиссера Елены Гогоберидзе и Т.Цулукидзе они на лошадях отправились в Сванети.

“Тетнульд” – трагедия из жизни горцев, сванов, повествующая о том, как новая жизнь, новые отношения разрушали старые отжившие обычаи – уже шел в театре им.Руставели. Вокруг спектакля разгорались горячие споры, некоторые критики нападали на С.Ахметели, обвиняя его в этнографизме, национализме, увлечении изображением жизни далеких от современной жизни



горцев. Курбас, конечно же, знал об этом – и все же он поставил пьесу, заняв в спектакле ведущих актеров труппы – Бучму, Крушельницкого, Ужвий, Сердюка. С.Ахметели тоже сдержал слово – в сезон 1934-35 гг. вместе с режиссером К.Патаридзе поставил украинскую пьесу “Часовщика и курицу”, (“Майстер”).

Лесь Курбас и Сандро Ахметели – две трагические, шекспировского масштаба фигуры в истории украинского и грузинского театров. Их творческую близость отрицают и В.Анджапаридзе, и Т.Цулукидзе... и все же...

Сегодня, рассматривая жизнь и творчество обоих мастеров, поражаешься, как они были схожи – оба очень талантливы, оба безмерно любили свою родину, свой народ. Оба стремились к созданию нового, пролетарского театра и объявили беспощадную борьбу обветшалым театральным пережиткам. Стремясь к созданию нового, национального театра, они, хоть их и обвиняли в национализме, уделяли огромное внимание шедеврам мировой драматургии, лучшим пьесам современных авторов. Оба широко образованные, они были увлечены достижениями мирового театра, творческими поисками Пиксатора, Фукса, Адольфа Аппиа...

Ф.Достоевский говорил: “Идеи летают в воздухе”. Эти два таланта, истинные художники на ходу ловили эти идеи, претворяли их в жизнь, работали до истощения, старались увлечь за собой своих учеников, своих последователей. За бескомпромиссность, твердость характера их многие не любили, преследовали, окружали паутиной лжи, интриг, однако они не сдавались, упрямо шли к своей цели... Трагичен был путь обоих, рано и страшно ушли они из жизни. В 1933-34 гг. обоих постигла одинаковая участь, их отстранили от театров,



которые они сами создали, предал кто-то из друзей учеников...

Мне кажется, творческое наследие Курбаса и Ахметели заслуживает особого, специального изучения хотя бы за то, что эти “эстеты”, “буржуазные националисты”, “формалисты”, как их называли, создали свою школу, воспитали целое поколение блистательных актеров, своими спектаклями обогатили режиссуру. Отказавшись от старого, они яростно штурмовали рубежи нового искусства, пролетарского, не случайно героем их спектаклей был борющийся за свою свободу народ. Они пытались постичь духовные глубины своих народов, раскрыть его героические черты, идти в ногу со временем, они высоко ценили слово, пластику, ритм, психологическую разработку характеров, законы выразительности, законы перспективы, действия, фиксации, светотени, пантомиму и многое, многое другое – их победы и даже поражения были так прекрасны.

В одной из бесед со мной Верико Анджапаридзе вспоминала свою влюбленность в Леся Курбаса, встречу с “березилевцами”, то, как, возвращаясь на родину, Леся Курбас прислал ей торт и цветы, записку с благодарностью, жалела, что записка пропала...

Говоря о Курбасе, Верико Анджапаридзе возвращалась в свою молодость, возвращалась с грустью, печалью, порой зажигаясь воспоминаниями, светло улыбаясь... Она записывала на радио свои воспоминания, и последняя запись великой актрисы – о Курбасе. Она потеряла сознание за столом, когда заканчивала свои воспоминания, последние воспоминания, в которых жил великий украинский режиссер...

Сегодня она сама воспоминание, печальное и прекрасное, одно из многих в ряду воспоминаний о Марджан

нишвили, Курбасе, Ахметели, Бучме, Ужвий и многих, многих других, всех тех, кто на заре формирования советской культуры трагически, страстно, гибельно сгорели, освещая путь новым поколениям, для которых театр стал святыней, храмом воспаряющего ввысь человеческого духа, человеческой мысли.

Анаида БЕСТАВАШВИЛИ

“НЕ УЕЗЖАЙ, ГОЛУБЧИК МОЙ...”

Как свидетельствуют судьбы отдельных, ярко одаренных людей, в этом мире нет ничего случайного, и поступки их как бы predetermined заранее, и движение их творческого духа не хаотично, а четко целенаправлено. Что привело в Грузию молодого поэта Илью Дадашидзе в начале 60-х годов прошлого века? Ответ его сформулирован в названии известного сборника стихов и переводов – “Ревность по дому”, выпущенного в свет в 1982 г. Отпрыск древнего рода посещает землю предков в поисках корней, мучимый извечным вопросом: откуда мы и куда идем? Это, разумеется, так. Но зовом крови не исчерпывается тяга к стране, ставшей, по удачному выражению Евгения Евтушенко, второй колыбелью русской музыки. Покоящийся на святой горе (Мтацминда) в Тбилиси прах великого Грибоедова словно магнитом притягивал к себе Пушкина, Лермонтова, сосланных на Кавказ декабристов, большинство из которых были талантливыми литераторами. В начале XX века в Грузию буквально хлынули поэты серебряного века: К.Бальмонт, А.Белый, В.Маяковский, С.Есенин, Б.Лившиц, О.Мандельштам...

Когда основанное в 1924 г. издательство “Заря Востока” позднее задумало и осуществило издание серии “Стихи о Грузии и переводы”, в ней заблистали имена Б.Пастернака, Н.Заболоцкого, П.Антокольского, Д.Самойлова, А.Межирова, А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной,

Е.Евтушенко, Ю.Ряшенцева, В.Леонovichа, Я.Гольцмана, Ильи Дадашидзе. Вот и имя нашло свое место. Свершилась судьба. Илья нашел путь, ведущий к себе и в мир, исполнил возложенную на него миссию, но ушел от нас слишком рано. Сделал он много, однако всем понятно, что не доживший до 60 лет самобытный поэт мог бы написать еще не одну книгу, а будучи прирожденным переводчиком открыл бы читателю много новых имен.

Крестным отцом Илюши в Тбилиси сразу стал известный критик и литературовед Гия Маргвелашвили. Его называли живым мостом дружбы между Грузией и Россией.

В квартире Этери и Гии, более похожей на картинную галерею, чем на жилье, проходили тест, ведомый одному хозяину, лучшие поэты 60-х годов. Илюша выдержал экзамен с честью, и впоследствии удостоился заслуженной публикации в серии “Свидетельствует вещей знак...”, которую Гия вел много лет на страницах журнала “Литературная Грузия”. Этот уникальный в своем роде журнал стал для Ильи родным домом. И если он решительно произносил: “Иду туда, где красивые женщины угостят меня настоящим кофе”, – можно было без труда догадаться, куда он направляется. И почти тридцать лет уже сам Илья приводил и к Гии Маргвелашвили, и в любимую “Литературную Грузию” самых, по его мнению, достойных и талантливых.

Сформировавшись очень рано, Илюша отличался стремлением опекать молодежь. Впрочем, и со старшим поколением деятелей искусства Грузии его связывала нежнейшая дружба. Он всегда был долгожданным гостем в домах выдающихся художников Ладó Гудиашвили, Елены Ахвледиани, Этери Какабадзе. Широко открывали перед ним двери Георгий Леонидзе, Григол Абаши-

дзе, Ираклий Абашидзе, Карло Каладзе. Часто личная дружба переходила в творческое содружество — тогда рождались великолепные переводы. Помню одну из последних наших встреч с Ильей в здании “Заря Востока” (издательство несколько раз меняло название, в тот момент оно называлось “Мерани”, но все по старинке звали его “Зарей”). В уютном мраморном вестибюле, где стен бы не хватило, чтобы развесить портреты всемирно известных авторов, издавших здесь свои книги в самые тяжелые времена (здесь нашел убежище после ссылки Н.Заболоцкий, а книга Б.Пастернака вышла в 1958 г. — год травли и исключения из Союза писателей), на старинной резной деревянной скамье сидели 92-летний Колау Надирадзе и вечно юный Илюша. Коллеги по поэтическому цеху так увлеченно беседовали, что меня не заметили. И не удивительно! Кто еще мог рассказать знающему, как мне казалось, все на свете о поэзии Илье о тех временах, когда молодые Колау Надирадзе, Валериан Гаприндашвили и неразлучные Тициан и Паоло выпустили в свет журнал “Мечтающие газели” — орган поэтического братства “Голубые роги” (1916 г.).

Трагические судьбы репрессированных поэтов — это была кровоточащая рана в сердце Илюши. Не оставляла его в покое и мученическая кончина великого Галактиона, выбросившегося из окна лечебницы в 1959 г. Огромную долю сил, времени и энергии Илья отдавал переводу стихов этой, и поныне непревзойденной, славной когорты, “пробивал” в печать переведенное другими, составлял и редактировал сборники. Слава Богу, у него были блистательные единомышленники и соратники. Такие как Гурам Асатиани, Нодар Думбадзе, Тенгиз Буачидзе, Отар Нодия — всех не перечесать. Я бы

назвала эту группу просветителей “грузинскими энциклопедистами”. Это они подняли послесталинскую литературу на хороший европейский уровень. Как в родном доме смотрелся Илюша в Союзе писателей Грузии (ул. Мачабели, 9). Этот исполненный неизъяснимого очарования особняк с таинственным садом, хранящим эхо стихов и поступь их безвременно ушедших из жизни авторов, был излюбленным местом бесед, встреч, дискуссий и споров. В этом бесценном памятнике архитектуры, украшении многократно воспетых Сололак¹, всех гостей в вестибюле ждали (и, надеюсь, терпеливо ждут до сих пор) огромные чучела льва и тигра в стеклянных витринах, а потом, поострив на эту неисчерпаемую тему, можно было спокойно отрывать от работы всегда занятого и спешащего Иосифа Нонешвили, невозмутимого Григола Абашидзе, ироничного Ираклия Абашидзе, грустно острящего Нодара Думбадзе. Это было ни с чем не сравнимое блаженство человеческого общения.

Дорогим гостем был Илья в Коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям, которой руководил незабвенной памяти добрейший и умнейший Отар Нодия. Это он организовал замечательный альманах “Кавкасион”, давно уже ставший библиографической редкостью, где Илья печатался почти в каждом номере. Отар Нодия – историк, философ, знаток кавказских этносов понял 20 лет назад то, чего до сих пор не могут понять “всезнающие” политологи и власть предержащие всех уровней. С его участием были открыты принципиально важные научные учреждения – “Музей дружбы народов”, филиал Музея Пушкина и многое другое. С Илюшей нашего незабвенного Отара

¹ Сололаки – район старого Тбилиси.

объединяли и дружба, и полное взаимопонимание, и очень серьезные общие проекты. Когда Тенгиз Буачидзе – специалист по древнерусской литературе – основал Фонд культуры, а чуть позже и Фонд Руставели, оказалось, что без Ильи не обойтись и там. Грузия постепенно становилась важным культурным и научным центром, где ежегодно проходили конференции и симпозиумы, семинары в Пицунде, выездные сессии в Вардзии и в Кахети. Надо ли говорить, что Илья был непременно участником перечисленных акций. Еще бы! Где еще можно послушать А.Тарковского, Н.Эйдельмана, В.Вачуро, Т.Никольскую. Когда “Музей дружбы народов” открыл свой филиал “Дом-мемориал” в Москве на Б.Грузинской ул., 5 (к сожалению, теперь отнятый московской мэрией), Илья тесно сотрудничал с директором Дома-мемориала А.Махарадзе, принимал активное участие в литературных чтениях и вечерах. Старался не пропускать концертов и выставок в роскошном особняке, отделанном неумолимым Зурабом Церетели на старом Арбате, “Мзиури”. Боже мой, да как же он все это успевал с больным сердцем и больными ногами! Впрочем, он не любил жаловаться на недуги, любил говорить о своих друзьях и о поэзии.

Илья обладал редким даром объединять людей. Так он “преподносил” новым людям обожаемого им поэта Шуру Цыбулевского. В обязательном порядке тащил всех “на съемку” к редчайшему мастеру художественной фотографии Додику Давыдову. Если бы наследники не отказались вывозить работы из Тбилиси, Илюша давно бы устроил, как планировал, в ЦДЛ выставку “Поэты глазами художника”.

С какой-то особой нежностью относился Илья к старшему поколению грузинской и русской творческой

интеллигенции. Навещал слепнувшего Симона Чиковани, хлопотал о переезде в лучший район подруги Тициана Табидзе и Бориса Пастернака – Фатьмы Антоновны Твалтвадзе. Навещал вдову Георгия Леонидзе, вместе с женой Ирой заботился о Н.Я.Мандельштам. Илюша умел заражать своей любовью к Грузии и молодое поколение. Одной из последних, “заболевших” страстью к грузинскому слову, стала Лиза Кулиева, дочка Беллы Ахмадулиной.

Переехав в Москву, Илюша немедленно организовал материальную помощь грузинской интеллигенции. Совсем небольшие деньги, которые он собирал, должны были убедить друзей в Грузии, попавших в беду, что их по-прежнему помнят и любят в России.

Илья обладал каким-то безошибочным поэтическим слухом. Едва познакомившись с литературной ситуацией 60-х годов, он моментально отметил для себя самых ярких представителей грузинской “новой волны”, и вскоре появились переводы из Отара Чиладзе, Арчила Сулакаури, Джансуга Чарквиани. Переводы сразу привлекли к себе внимание, а имя переводчика стало в один ряд со старшими собратьями, лучшими поэтами России.

Бесконечно мягкий, деликатный Илья был уступчив во всем, кроме случаев, когда речь заходила о главном деле его жизни – поэзии. Я помню, что многие, и в том числе я, при составлении последнего по времени сборника Тициана Табидзе настаивали, чтобы не переводить заново те стихотворения, под которыми стояли имена переводчиков-ассов. Иногда нам удавалось его убедить, но там, где он видел неполноту передачи достоинств оригинала, он был неумолим и заказывал переводы поэтам, в которых чувствовал потенциал и еще не

раскрытые возможности. Илюша победил своих оппонентов – перед русским читателем предстал неповторимый рыцарь Ордена “Голубые роги” Тициан Табидзе. С семьей Тициана Илью связывали особые отношения. Он очень любил вдову поэта Нину Александровну, живущую в стихах под именем Коломбины, их дочь Ниту Табидзе, внучку Ниночку и правнучку, и когда в Тбилиси наконец открыли Дом-музей Тициана на улице Гогеша, мне показалось, что не только репрессированный поэт, его стихи и его семья, которую всю жизнь, как свою собственную, опекал Борис Пастернак, но и сам Илья обрел в Тбилиси родной Дом. Мне кажется, что и добрейшая Нита Табидзе, хранящая в памяти всех великих русских поэтов, посещавших Тициана – с его вечной алой гвоздикой в петлице, Нита, схватившая будучи крошкой за кудри молодого Есенина с радостным криком “окрос пули” (золотая денежка), приняла в свое сердце Илью, как сына. И в Тбилиси его ждали так же, как ждали в Доме-музее Пастернака в Переделкино.

Я думаю, Илья по достоинству оценил выпавшее на его долю счастье. Он заслужил эту дивную судьбу своей бесконечной любовью ко всему, чему отдал жизнь. В Москве у него был Юлик Даниэль, в Тбилиси – Шура Цыбулевский. Два поэта – лагерники, два светлых таланта, породненные словом.

Илья знал не только грузинскую литературу, очень высоко ценил и грузинское кино. Едва приехав, бежал на “Грузия-фильм”, где сам директор – красавец Чабуа Амирэджиби, прославившийся на весь мир своим романом (а затем и многосерийным фильмом) “Дата Туташхия”, принимал его, как любимого младшего брата, и Илюша, усевшись в уютном просмотрном зале, смотрел, что нового подарила зрителю эта замечательная

киностудия. Илья был блестящим знатоком грузинской живописи. Гордился своей дружбой с глубоко национальным, декоративным, магическим Ладом Гудиашвили и совершенно европейским мастером Еленой (или, как он называл ее, “Эличкой”) Ахвледиани. Был завсегдатаем музыкальных салонов в мастерской Элички, где так любил “по-домашнему” выступать Святослав Рихтер – сам великолепно рисовавший. Мне всегда казалось, что, приезжая в Тбилиси, Илья вообще не ложился спать. Он столько успевал! Всех навестить, во всем поучаствовать, отнести готовые переводы в “Литературную Грузию”, познакомиться с новым молодым поэтом с твердой решимостью открыть его русскому читателю, успеть на открытие выставки, забежать на чашку кофе к друзьям и, наконец, вечером – в театр к Стуруа, Габриадзе, или к марджановцам.

Это были счастливые времена, когда Грузия имела возможность, широко приглашая гостей со всего Союза и из-за границы, отмечать юбилеи Шота Руставели (1966), Николоза Бараташвили (1968), Ильи Чавчавадзе (1977) и других. Илюша был неизменным участником этих торжеств, выступал со стихами и переводами. Каждое масштабное мероприятие сопровождалось поездками в разные уголки Грузии. В результате я могу утверждать, что Илья великолепно знал историю Грузии, был знаком с древнейшими памятниками архитектуры, искусством, народной и классической музыкой.

И все-таки сердце его принадлежало Тбилиси. Особенно любил он старый Тбилиси. Отсюда его особая любовь к пейзажам Елены Ахвледиани. Отсюда целый ряд замечательных стихотворений о городе Пиросмани, об ушедших в прошлое духанчиках и ресторанах. Где бы ни жил Илья, мысли о Тбилиси не покидали его. До

последних дней жизни он не расставался с идеей издать “Литературную богему старого Тбилиси” Иосифа Гришашвили в переводе Н.Тархнишвили и В.Леоновича с волшебными рисунками заслуженного художника Грузии и Армении Р.Кондахсазова. Мечтал также повторить ставшие библиографической редкостью переводы из народной грузинской поэзии Яна Гольцмана, блестяще иллюстрированные великим Ладом Гудиашвили. Увы, остались неосуществленными и другие замыслы. Так и не вышел в свет в новых переводах Отар Чиладзе, а одним из сюрпризов книги должны были быть почти никому не известные переводы Иосифа Бродского. Не удалось реализовать и два других проекта: Грузия в стихах русских поэтов (двухтомник) и “Антология новейшей грузинской поэзии”. Боюсь, что без главного инициатора этих изданий, их путь к читателю станет еще дольше и длиннее. Илья был организатором нескольких вечеров грузинской поэзии в Москве. Наиболее удавшимся был вечер в ЦДЛ в Москве, где принимали участие Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Елена Николаевская, Юрий Ряшенцев, Ян Гольцман и другие поэты Москвы. В вечере участвовали Наталья Гутман, Элисо Вирсаладзе, Зураб Соткилава, Тамара Гвердцители. Это, по замыслу Илюши, была благотворительная акция в пользу детских домов Грузии, Детского фонда Грузии.

От нас ушел человек на редкость многогранный. С одной стороны, глубоко лирический поэт, с другой – остро чувствующий время публицист и журналист-обозреватель, утонченный интеллигент и бесстрашный боец за идеалы свободы, изысканный эссеист и страстный общественный деятель. Грузинский князь и русский интеллигент. Утрата невосполнима. Огромная потеря для



культуры грузинской, русской, для культуры вообще
Поверить в его уход невозможно, лучше повторять и
повторять вслед за ним:

Ах, если б снова очутиться мне
В том времени, в блаженной той весне,
В неведеньи смотреть невиновато
На эту жизнь без холода в груди,
Еще не зная, что там впереди,
Какая душу стережет утрата!

Главный редактор ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ

Редакционный совет:

Ирина ЗУРАБАШВИЛИ
Манана КВАЧАНТИРАДЗЕ
Майя МЕРАБИШВИЛИ
Елена СОПРОМАДЗЕ
Лиана ТАТИШВИЛИ (отв. секретарь)
Георгий ЧАРКВИАНИ

Художник ОЛЕСЯ ТАВАДЗЕ

Техредактор: КАРИНА КОТОМИНА

От нас ушел человек на редкость многогранный. С одной стороны, глубоко лирический поэт, с другой — остро чувствующий время публицист и журналист-обозреватель, утонченный интеллигент и бесстрашный боец за идеалы свободы, изысканный эссеист и страстный общественный деятель. Грузинский князь и русский интеллигент. Утрата невосполнима. Огромная потеря для



„ლიტერატურნაია გრუზია“

საქართველოს მწერალთა ჟურნალი
რუსულ ენაზე



Напечатано в типографии издательства “Интеллекти”
Тбилиси, пр. Чавчавадзе 17⁶, тел.: 25-05-22

Подписано к печати 26.12.2002.

Формат бумаги 84x108 1/32.

Бумага офсетная №1. Печать офсетная.

Тираж 300.

Цена договорная

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на “Литературную Грузию” обязательна.
Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул.Костава, 5.

Телефоны: 93 65 15, 99 06 59.

© “Литературная Грузия”, 2002

